

252

# ГРАНИ

GRANI

Г  
Р  
А  
Н  
И

252

2014

2014

---

Октябре – Д cembre

# ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,  
философия, публицистика,  
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,  
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,  
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,  
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского,  
В. Максимова, О. Мандельштама,  
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,  
Б. Пастернака, К. Паустовского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,  
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина  
и многих других отечественных  
и эмигрантских авторов.

\* \* \*

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов  
Редактировали:  
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,  
Б. В. Серафимов  
1947–1952 Е. Р. Романов  
1952–1955 Л. Д. Ржевский  
1955–1961 Е. Р. Романов  
1962–1982 Н. Б. Тарасова  
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч  
1984–1986 Г. Н. Владимов  
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года  
Издатель и Главный редактор  
**Татьяна Жилкина**

Редакционная коллегия:  
Алла Ависова, **США**  
Ирина Басова, **Франция**  
Тамара Жирмунская, **Германия**  
Зоя Калинина, **Франция**  
Александр Немировский, **США**  
Геннадий Николаев, **Германия**  
Николай Сундеев, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–  
Сан-Франциско**

# Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ  
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXIX

№ 252

2014

## СОДЕРЖАНИЕ

«*Два Ангела летели над миром...*» 5

### XX ВЕК

Александр ДОРОШЕНКО.

Книга Чисел 6

### К 120-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

«*Зовут её Ася. Но лучшее имя ей – Пламя...*» 52

Марина ЦВЕТАЕВА.

Сказка матери. *В. Лосская. Об автобиографической прозе М. Цветаевой* 81

Наталья ЛАРЦЕВА.

«*...Звезды предутренней мерцающий алмаз*» 94

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Николай ПАНЧЕНКО.

«*Как первый снег, как первоцветы...*» 115

Олег ГОНОЗОВ.

За ликом набожным и странным 124

Иван ПЕРЕВЕРЗИН.

«*...Бушующих над тундрой гроз*» 131

Борис ЗАБОРОВ.

Ава 140

## АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Дарья УЛЬБА.

Парящая. В центре комнаты на ковре 144

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Наталья МЕНЧИНСКАЯ.

«Похоже на то, что надо запомнить  
эту фамилию...» 149

## ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

о. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ.

О музыке и смерти. Александр Блок 181

## НАСЛЕДИЕ

Глеб ВАСИЛЬЕВ.

«...Я – ваш, больше, чем с небо!» Из лагерных писем 202

Виктор ФИШМАН.

Бывшее и несбывшееся русской читальни Гейдельберга 214

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К итогам Международной научной конференции в Вене 222

Коротко об авторах 229

Содержание томов №№ 249–252, 2014 233

Этот номер ГРАНЕЙ издан при поддержке компании  
«Силиконовой долины» (США) SATS [www.sats.net](http://www.sats.net)

*Обложка художника Н. Мишаткина*

*Эмблема – «Парус»  
Художник И. Иогансон*

*Два Ангела летели над миром, Светлый  
Ангел Несчастий и Черный Ангел Надежды.*

*Но, возможно, в этом страшном и ярком  
столетии к нам был послан особый Ангел,  
с крыльями разного света.*

*<...> Наша история, записанная предками,  
неверна. Это не история произвола,  
творимого обществом и людьми друг над  
другом, это история наших заблуждений,  
ослепления и ошибок.*

*Надо открыть глаза и увидеть мир,  
таким, как он нам дарован, понимая, что  
если и есть в нем смысл, то это я и ты,  
и только, надо отделить смысл от  
глупостей в учебниках истории и хрониках.*

Александр Дорошенко

Александр Дорошенко

## Книга Чисел<sup>1</sup>

### *Десять потерянных колен*

1900–1950

*Святой порыв и луга Смерти неизменно сопутствуют другу другу, а жертв всегда неизмеримо больше, чем грешников!*

*Как выглядит Ангел Смерти известно. Его тело сплошь покрыто глазами. Они открываются и закрываются, каждый по-своему. Смотришь, и не можешь понять, то ли подмигивают, насмехаясь, то ли предупреждают о предстоящем. А вот как выглядит Ангел Надежды, нам неизвестно. Может быть потому, что он редко встречается?!*

*Два Ангела летели над миром, Светлый Ангел Несчастий и Черный Ангел Надежды. Но, возможно, в этом страшном и ярком столетии к нам был послан особый Ангел, с крыльями разного света.*

### **Самое страшное в этом столетии, — мы!**

Давно замечал, или иначе, — я знаю, что искаженные пропорции тела, зверя или человека, есть отметина Дьявола и внешнее проявление Зла. Красивые, соразмерные пропорции соответствуют нашему представлению о душевном благородстве, и, как правило, это внешнее проявление Добра.

---

<sup>1</sup> Журнальный вариант. — *Ред.*



Я не видел, но убежден, что Каин был сложен плохо, это было сильное по костяку, но искаженное тело, он ведь был земледельцем, Каин, и он никогда не поднимал голову от пашни. А Авель был скотоводом, свободным, не привязанным к земле, он имел время и возможность поднять голову к небу, к звездам, к прародине.

Первоначальному, созданному по исходным чертежам Бога, человеку, прижатому страхом к земле, съжившемуся под тяжестью небес, надо было выпрямиться, поднять голову и протянуть руки к небу, чтобы небо приняло его в свои объятия. В том, что случилось с сыновьями, виноваты родители, Адам и Ева<sup>1</sup>.

Мы, земляне, люди рабского подневольного труда, редко и нехотя поднимаем голову к небу, мы бредем по земле, понуро ее наклонив и сжав губы, преодолевая трудности жизни.

Бог неспроста выгнал Адама из Рая зарабатывать кусок хлеба в поте лица, потому что праздность в Раю означала возможность думать и строить себя вровень с Богом. Змей-искуситель покинул Рай вместе с нами, именно он на земных наших путях шепчет слова утешения, подталкивает под руку, и советует, — подними голову, всмотрись, разве ты не различаешь в рисунке мироздания свои родительские черты? Змей-искуситель правильно называется Ангелом Искушений. Но, если бы не было искушений в нашей скудной земной жизни, зачем нам такая жизнь?

Наша история, записанная предками, неверна. Это не история произвола, творимого обществом и людьми друг над другом, это история наших заблуждений, ослепления и ошибок. Надо открыть глаза и увидеть мир, таким, как он нам дарован, понимая, что если и есть в нем смысл, то это я и ты, и только, надо отделить смысл от глупостей в учебниках истории и хрониках. Пора наконец это сделать, потому что времени осталось всего-ничего!

---

<sup>1</sup> Злобными карликами были Сталин и Ежов, Наполеон и Вильгельм Рихард Вагнер. Но бывает, редко, и поэтому особенно ценно, — в маленьком и уродливом теле живет высокая Душа. Таким был Николай Федорович Федоров, таким был Лев Шестов, таким был Эрнст Теодор Амадей Гофман... — А. Д.

Если ты строишь железную или иного материала дорогу, ты должен сначала решить, нужна ли она и зачем тебе туда ехать. Если плавильную печь, — нужен ли тебе этот металл, и для каких целей, ведь наверняка тобой задумано изготовление пушек, если подсчитываешь количество зерна и стали на душу населения, — определиться, есть ли у них, на этих путях, вообще души?!

У нас в России души бывают крепостными и мертвыми. Насчет Бога, единственное место, где он может находиться, — это мы! В тебе и во мне, в молоденьком зеленом листочке, только что доверчиво раскрывшем свою ладонь, и в муравье, бегущему, «запутавшись в строении цветка...».

И только определившись, с какой целью ты послан в мир, планируй свою жизнь. Не делай, как все, делай то, что вытекает из смысла дарованной тебе жизни.

### ***Нулевые, начальные, разбег. 1901–1910. Первое десятилетие века.***

*...Россия!  
Разметалась, раскинулась  
По ложбинам, по урочищам.  
Что мне звать тебя!  
Разве голосом её осилишь,  
Если в ней, словно в памяти,  
Словно в юности:  
Попадёшь — не воротись...<sup>1</sup>*

### ***Начало века***

Это время, первое пятидесятилетие века, прошло без меня, — меня еще нет на земле. Оно мое и не мое одновременно. Это время дедов и отцов, принявших на себя этот ужас, и вынесших его достойно, сохранив и передав нам лучшее, что им досталось от предков.

---

<sup>1</sup> Павел Коган. — *Ред.*

Оно странным было, это время разбега, в нем чувствовалась короткость дистанции, куда предстояло бежать, ее конечность, и поэтому так стремительно было все, так неповторимо ярко, как будто мы знали, что бежать нам недолго, что надо успеть...

### *Русский модерн.*

Рождение новых форм пришлось на самое начало XX века. Предшествующее столетие было временем ожидания и поиска, временем эклектики и рутинности, заплесневелого академизма, когда устоявшееся, накопленное, признанное, становится сытным пастбищем эпигонов, образуя плотину, но плотина поднимает уровень и напор желания строить иначе и вновь.

И, когда ее прорвало, обрушением, из этой смеси, из напряженного поиска цельности и новизны, но, главное, меры, — родился стиль «Модерн», и охватил все, как последний у человечества стиль, — новые принципы архитектуры и живописи, одежду, прически и украшения женщин, силуэты мужчин, — форму, рисунок и цвет.

Это была надежда на обновление, и модерн захватил сразу и все, — в нем возводились дома в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове и Одессе, и все элементы внутреннего и внешнего дизайна, — лепнина, рисунок лестниц и витражей, дверные ручки и нарядные прически кариатид, — так стали одеваться, он пришел на страницы модных журналов, рисунком на спичечные коробки, украшением на тяжелые серебряные портсигары (такой был у Воланда, такими награждали в годы революции ее героев, и тогда на внутренней его стенке гравировали слова: «Пламенному бойцу революции ... от Ростовского ГубЧК»), изменил шляпы мужчин и сделал иною походку женщин.

Лучшие фирмы страны стали работать в серебре, и женские украшения «братьев Овчинниковых» были тогда и останутся завтра лучшими из наилучших в мире.

Он был активен, молод и зол, стиль «модерн», он сметал все на своем пути, пытаясь успеть, претвориться, увлечь и захватить...

Он был универсален, стиль «Русский модерн», пришел, как водится, иностранцем, с запада, обрусел, существовал недолго, охватил рубеж веков XIX и XX, конец эпохи надежды, и начало самого страшного столетия человечества.

И даже в этом коротком промежутке времени модерн стремительно изменялся, — слишком долго мы ожидали появления стиля, цельности бытия, слишком много нас было тогда, ищущих и способных найти, слишком напряженным было время, в единицу которого теперь укладывалось невероятно многое.

Стиль «Модерн» чувствовал, что жить остается малое время, и спешил жить. Это был последний стиль человечества, и затем, на следующее столетие, он сменился рывками находок и откатов назад, компиляцией и неспособностью ощутить и выразить цельность. Для цельности видения надо обладать цельностью мира. И то сказать, надо ведь иметь спокойный промежуток времени, пусть даже недолгий. В этом стиле появилась асимметрия, как основной принцип развития.

В последние годы существования модерна, в первом десятилетии XX века, предвоенном, в нем проявилась боль времени, предчувствие войн, разорения всего, что было, и острое чувство предстоящей смертельной опасности. Появились жесткая прямолинейность рисунка, прямые и косые углы, торчащие пиками, направленными в глаза зрителя, в наши глаза. Это проявилось в самом конце века «модерн», в конце эпохи разума, в начале тупика, где мы оказались.

Когда я иду улицами своего Города, на его углах, на перекрестках, на развилках, где должно было начаться новое течение улиц, я вижу этих красавцев, высоких, стройных, подтянутых, и даже избыточное богатство лепнины, тяжелые маскароны и bestiарий зверей на их плоскостях, только подчеркивают эту строгую красоту и силу, и боль, оттого, как это было задумано и с какой жестокостью оборвано в первых движениях к нашему предстоящему счастью.

Нам предстояло иное...

Проигранная японская война. Порт-Артур, героизм по невнятным причинам, калеки под крестами, — на груди и над го-

ловой... Революция пятого года. Несбывшиеся надежды. Предчувствие. Еврейские погромы. В моем городе сотни убитых и тысячи разоренных.

Практически одновременный приход в поэзию Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Николая Эрдмана... Мощной симфонией заявляла себя русская поэзия в начале столетия, на рубеже старого, отжившего мира, и нового, сулившего такие надежды. Это был кризис символизма и начала нового поиска. Какой мощный всплеск, какие чаяния и надежды, как много и многое он обещал!

Есенин с крестьянской, исконно-кондовой правдой, — пусть пошумят, постреляют, расчистят путь нам, селу, крестьянам, подлинным владельцам земли. Эти вечные чаяния крестьян стали неубиенной картой, на которую и поставили большевики в гражданской войне, чтобы потом, закономерно положить этих самых крестьян вместе с их чаяниями под топор революции.

Марину довели до самоубийства, Гумилева поставили к стенке, Мандельштама сгноили в пересылочном лагере, Маяковский пустил себе пулю в сердце, Есенин повесился, Анну и Бориса затравили, Николая Эрдмана, автора лучшей русской пьесы двадцатого века «Самоубийца», посадили, а затем он провел пять лет в ансамбле песни и пляски НКВД...

Их исключили из жизни общества, надолго, на время жизни наших родителей и на становление нашей. Потому что нет опаснее врага у империи, чем поэт! О чем бы он ни писал, — о ветвях деревьев, шумящих на ветру, о поющей птице, о собачьих грустных глазах, — его слова направлены против империи, против принуждения и лжи!

Кто нам всегда мешает в обретении счастья? — и вообще, вечный вопрос нашей российской истории, — Кто виноват? Кто-то же в этом во всем, что с нами происходит плохого, и так давно, но главное, так непременно и постоянно происходит, виновен?

Все не просто. Нищета, забитость, лишения, голод и холод, болезни и мор, бесправие и произвол властей рождают силу протеста. Но комфорт, заменяющий культуру, но сытость и

пресыщенность, но вседозволенность и утрата моральных правил, намного хуже.

А истина только в пути, между первым, плохим и вторым, наихудшим, она в отклонении от этой убогой прямой, по которой мы, как трюкач в цирке, балансируем на канате.

Наша история — это плохая пьеса, исполняемая плохими актерами, они меняют одежды и языки, имена и жесты, но если глянуть ее, эту пьесу, написанную неспособным автором и поставленную придурком-режиссером, глянуть десятков раз, на выбор, в любом отрезке времени, называемом нами столетиями, можно встать и тихо выйти из зала, и неважно, что там в этот момент, смех ли, слезы, или аплодисменты, — выйти в тишину уличного пространства, и пойти пустыми улицами, лишенными подсматривающих глаз, и так уйти навсегда, добровольно, потому что играть в эти игры унижительно и оскорбляет лучшее в нашей душе.

### ***Предвоенный Париж.***

*Париж был подходящим местом для тех из нас, кому предстояло создать искусство и литературу XX века<sup>1</sup>.*

Там было накануне войны где-то тридцать пять тысяч наших граждан, — среди них представители имущих классов, музыканты, балетные труппы, студенты, художники, коммерсанты и ремесленники.

В Сорбонне учились Макс Волошин и Марина Цветаева. В девятьсот десятом центр художественной жизни сместился с Монмартра на Монпарнас. Перед Первой мировой в Париж прибыли художники из местечек Польши, Литвы и Украины, — Пинхус Кремень, Михаил Кикоин, Хаим Сутин, Жак (Хаим-Яков) Липшиц. Из местечка в Париж, без документов и чуть ли не пешком, из глухой провинции на самые высоты современной культуры.

---

<sup>1</sup> Гертруда Стайн. Сама по себе, она ничего не создала, но была каталогизатором в этой густой массе талантов, выявляя, поощряя и покупая работы молодых художников, стоявшие так недорого. — А. Д.

Они поселились в общежитии «Улей» — Ля Рюш, La Ruche, где снимали мастерские Марк Шагал, Фернан Леже, Александр Архипенко, Осип Цадкин, Натан Альтман.

В девятьсот одиннадцатом Модильяни встретился здесь с Анной Ахматовой. Памятью их любви сохранились интимные рисунки, найденные в Венеции у потомков антиквара, когда-то покупавшего работы Амедео<sup>1</sup>.

Кремень дружил с Фернаном Леже, Шагалом и Модильяни. Жили они бедно, но в России было еще хуже. Когда совсем припирало, вспоминал Кремень, Модильяни рисовал чей-нибудь портрет на салфетке или обрывке бумаги, продавал, и помогал им деньгами.

Здесь работала Хана Орлова, дружившая с Пикассо, Кокто и Аполлинером. С началом войны Мария Васильева, Русская академия которой была на бульваре дю Мэн, организовала в своей мастерской дешевую столовую. Там было сытно и весело, там собирались наши, и на сохранившихся рисунках этих застолий видны Цадкин, Маревна, Модильяни...

Поблизости открывается кафе «Ротонда», где, сидя вечерами за столиком, делает стремительные наброски Осип Цадкин, о чем-то беседуют скульпторы Оскар Мещанинов и Жак Липшиц, а двое серьезных мужчин напротив, это возможно Владимир Ленин и Лев Троцкий, часто бывавшие здесь в те годы. Какие имена, — Моис Кислинг, Андре Дерен, японец Фужита, Амедео Модильяни, Хана Орлова...

Напротив «Ротонды» открылся «Куполь», где Эльза Коган познакомилась с Луи Арагоном. За ней в России ухаживал Владимир Маяковский, переключившийся на ее сестричку, Лили, за ней в Берлине ухаживал Виктор Шкловский, создавший бессмертные «Письма не о любви», и вот, надо же, она перебежала к никому и ничему, к Арагону!

---

<sup>1</sup> Из чего следует, что известные эпиграммы-пасквили на телосложение Анны, написанные Иваном Буниным («Углом колени, узкая рука.../ Нервна, притворна и бескровна...») и Дон-Аминадо, не соответствуют реальности, потому что, ежели Амедео, избалованный красавицами Парижа, которых любил и рисовал, в красоте телосложения которых легко убедиться по его полотнам, любил Анну Ахматову, значит было, за что любить! — А. Д.

В кафе «Парнас», выставлял свои работы Пинхас Кремень. Кафе «Хамелион» становится излюбленным местом встреч русских художников и молодых писателей.

Русский ресторан «Доминик», открытый евреем Львом Аронсоном, где молодым русским разрешали встречаться в небольшом зале, по четвергам, и они стали называть себя «доминиканцами»<sup>1</sup>. Здесь собирались на литературные посиделки и «старики», — Марк Алданов, Борис Зайцев, Иван Бунин, Владислав Ходасевич, моя любимица Тэффи, язвительный Георгий Адамович, и совсем молодые Борис Поплавский, Фельзен, Юрий Манделъштам...

Был у них единый язык, на котором они творили, осознавали и переделывали мир, и незнание французского выходцами из местечек, незнание русского французами, немцами, румынами, итальянцами, все это никак не мешало понимать друг друга.

Единый универсальный язык, скульпторов и декораторов, живописцев и архитекторов, музыкантов и танцовщиков, яркий, образный, многоцветный, каким он был до расчленения мира, до Вавилонской башни, художественный язык «по ту сторону стиля».

И так же совместно, дружно, пусть и в разноголосице, торопясь и присматриваясь друг к другу, держа и вздымая друг друга, они строили новый мир, многоцветный, освободившийся от приевшихся догм и правил, от академической рутины.

Так, на ближайшие десятилетия возникло то, что теперь принято называть Парижской школой, *École de Paris*, хотя парижан среди них практически не было. Они были и близки и настолько различны, — чего стоил один Хаим Сутин, рисовавший так, будто до него живопись вообще не существовала, и похоже, что она действительно не существовала.

Эмигрант оказывается в новом мире, вне школ и традиций, и это лучшая школа для рождения Мастера. Он ищет прародину, истоки, и зрение его приобретает особую остроту и даль-

---

<sup>1</sup> Однажды Тэффи встретила группу пожилых евреев, выходящих из этого зала, и на ее расспросы выяснилось, что это секция молодых русских поэтов. — А. Д.



ность. Кубизм возник в попытке понять, как, из каких масс, и каким способом, Бог создавал Мир.

В попытке увидеть первоначальную окраску мира.

(Ну да, конечно, они пьяны с утра, Хаим Сутин и Модильяни, и плохо выбриты, и голодны, а пьяны потому, что пить на пустой желудок плохо, особенно если больной желудок, как у Хаима. И с утра уже сидят в кафе, не продрав глаз.

И все эти вечерние разговоры, веселые, грустные, восторженные, печальные... И масса живых гениев, пусть и не выбритых гладко, пусть и не признанных... Интересно, на каком языке говорили между собою итальянский еврей-сефард Амедео и местечковый еврей из этой неопределенной границами, необозначенной на картах земли, ашкеназ Хаим?

Они не видели мир, не читали газет, было не до того. На своих плечах они несли новый мир, дело ли в старом хламе? На своих молодых плечах. Рухнул мир, обнажилось его устройство, и вот они воздвигали новые стены, лепили, кроили, переходили от громоздких неповоротливых кубов к рассекающим плоскостям, путались в измерениях и красках мира, в его временах и нравах, отбрасывая все, как нелепость и глупость, всю накопленную человечеством культуру. Строя вновь, на первоосновах бытия. Упразднив все, как не бывшее, и мало кто тогда понимал, что происходит с миром, в руках этих молодых и смешных изгоев и гениев.

А Бог, в надмирной выси, открыв уставшие видеть замусоренный мир глаза, смотрел на них, удивляясь и понимая, что вот оно новое, вот оно созидание...

Наш Бог нас тогда испугался. Он обрушил на наши головы бедствия, мор, войну, глад и смерть, чтобы мы не построили новый мир. Он нас тогда раздавил, лишив творящей силы, чтобы остаться недосягаемым.

С тех пор, и по эти поры, мы вновь погружены в плагиат, в спячку, и нам уже не проснуться. Это странный длящийся загадочный сон, мы в нем как дети, спим и чего-то ждем, зная наяву, что ждать нам уже нечего).

## ***Как только мы перестаем быть детьми, мы умираем***

Нищим пришел в Париж Константин Бранкузи<sup>1</sup>, гениальный скульптор, сказавший, что реально именно то, что стоит за видимым: не внешняя форма, но внутренняя суть вещей, и незачем имитировать их поверхность. Тяготение к первобытным, первоначальным формам, сблизило его с Амедео Модильяни, тоже начинавшим как скульптор, впрочем, и оставшимся скульптором в своих полотнах. Бранкузи сформулировал базовый принцип искреннего восприятия мира, сказав: «Как только мы перестаем быть детьми, мы умираем».

На кладбище Монпарнаса он поставил памятник Татьяне Рашевской, молодой русской женщине, покончившей с собой из-за несчастной любви, и памятник этот, «Поцелуй», стал символом утверждения жизни. В молчании, в тесном сплетении рук и душ, на кладбище, среди мертвых камней, среди выдуманных слов и клятв, — он стал символом Жизни!

Любовь, как и все главное, не вовне нас, но внутри, и этого у нас никому не отнять!

Антреприза Дягилева до самой его смерти в двадцать девятом году помогала не только танцовщикам, хореографам, музыкантам, но и русским художникам, давая заказы на костюмы и декорации. Это родило новую систему выражения, новый Театр и новый балет, русские по существу, и покорило французов, определив на все предстоящее столетие духовную и культурную жизнь мира.

Это была территория небывалой свободы, полного отсутствия запретов и догм. Как волна, это новое искусство катилось и сметало перед собою все мешавшее, и в этом небывало новом, многоцветном и красочном, в новых формах, вышедших ниоткуда, ощущалась рука лучших мастеров прошлого, отображаясь и преломляясь, собираясь из осколков разбитого зеркала, в которое мы смотримся уже тысячелетия времени.

---

<sup>1</sup> Ему пришлось изменить на французский манер свою румынскую фамилию Брынкуши, она не произносилась и не писалась на французском. — А. Д.

Волны нового искусства достигали наших берегов. Уже в декабре девятьсот девятого состоялась выставка нового искусства в Одессе («Салон» Издебского), где были представлены полотна ведущих иностранных (П. Боннар, Ж. Брак, К. Ван Донген, М. Вламинк, М. Дени, А. Марке, А. Матисс, А. Руссо, П. Синьяк...) и отечественных мастеров (Л. Бакст, В. Борисов-Мусатов, братья Бурлюки, И. Грабарь, В. Кандинский, Е. Лансере, Е. Кругликова, А. Лентулов, И. Машков, Г. Нарбут, А. Остроумова-Лебедева, А. Рылов, А. Экстер, А. Явленский...).

Она прошла в Санкт-Петербурге и Николаеве и определила появление молодых мастеров «Общества независимых художников» («одесские парижане») в Одессе и фантастического явления, состоявшихся находок и несбывшихся грез, — «Культур-Лиги» в Киеве.

Этот поиск захватывал все: живопись, музыку и слово, казалось все привычно устоявшееся в закаменевших формах, взорвалось само, требуя и жаждая изменений...

Начало века обещало много, манило и соблазняло небывалой свободой. Бунин в январе восемнадцатого писал: «А кругом нечто паразитильное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит».

Это был общий поток, но территорией нового искусства стал Париж. Два Ангела летели над миром, Ангел Смерти и Ангел Надежды, летели рядом, присматриваясь к нашей земле, и затем разошлись веером, как праздничные самолеты, парадные, и один Ангел, Смерти и Разрушения, пяткой ударил по новому Вавилону, обрушив башню, и полетел дальше, сея семена Смерти, разрушения и войны.

Эти семена жизнестойки, их не надо поливать и возделывать, потому что семена Зла растут сами, и почвой для них являются наши больные души.

А второй Ангел, Надежды и Упования, опустился на землю, и затаился в скорби, переживая, когда утихнет канонада и крики людских обезумевших толп, когда упадут все снаряды, и рухнут все здания, и волна ненависти, составленная из людей, утративших человеческий облик, стихнет и начнет оседать красным пеплом.

Он ждал, когда опустится пыль от дорог, и впитает земля пролитую кровь, и отольются слезы, и вот тогда он поднимется в небо и, мягко касаясь крыльями ран земли, тихими взмахами крыльев полетит над землей, залечивая ее раны.

Но ожидание было долгим, так много страшного нам предстояло. Как странно, Господи, как жутко. Из мрака крадется рука, когтистая лапа, а ребенок весело бежит, не представляя беды и ее не видя.

### ***Десятые. 1911–1920***

*Судьба нас будто берегла;  
Ни беспокойства, ни сомненья...  
А горе ждёт из-за угла*

А.С. Грибоедов. Горе от ума

*«Пронзены половецкими стрелами вещице сны,  
Мы живем либо после войны, либо перед войною».*

### ***Первая Мировая бойня. 1914 год***

Выигранная вроде бы, но все же проигранная бесславно, Первая Мировая война. Перепаханные окопами поля Европы. Ощетинившийся штыками мир. Станным был человек этого времени, — вместо лица резиновая маска и большие выпуклые стеклянные глаза, а к ним хобот. В этих окопах они остались лежать, — скелет и на голом черепе противогаз, а в судорожно сжатых костяшках рук трехлинейка.

Я видел однажды такой боевой скелет в разрытом окопе, — мундир уцелел, на плечах сохранился ранец, он лежал на животе и винтовку держал в костяшках рук, направлением на врага. Была весна, и я посмотрел в направлении этого ствола, — там была тишина, пели в дальних кустах птицы, и полевая мышка осторожно перебежала тропинку.

Лежал исправный солдат, гордость стражи, полка, роты и командира, без имени, без черт лица, без голоса, но трехгранный штык был обращен к врагу.

Неплохо бы поставить памятник нашей преступной глупости, — скелет, в намертво расставленных на постаменте кирзовых сапогах, в противогазе и с винтовкой в руках. Памятник нашим нескончаемым войнам самим с собою.

С каждой новой войной, которую мы, чаще всего проигрываем, мы крепчаем. Это сказала Великая Екатерина. Вспомним страшную Смуту, — если бы мы в ней не перегорели дотла, мы бы не смогли построить Россию. Вспомним поражение от шведов, под губительной Нарвой, сменившееся Полтавой, и новой русской армией. Вспомним Бородино, потерянную страну, сданную столицу, и вот уже подпрыгивает, потирая ручонки маленький кровавый карлик на Кремлевских стенах, а ждет его долгое бесславное бегство по русским снегам и Березина.

Вспомним Крымскую кампанию и англо-французов, и что же, ну срыли мы Измаил и Очаков, но перевооружились до зубов и подготовились к дальнейшему. Вспомним русско-японскую, и Цусиму, Врагу не сдается наш гордый Варяг, но в результате мы создали новый военный флот...

А вот наши победы означали губительные последствия, — вспомним Куликовскую битву, перед которой мы столетие уже не платили дани татарам, и после которой сожгли Москву и начали платить дань татарам вновь, еще на несколько предстоящих столетий...

Все наши беды и победы.

### **1917 год. Победившая Революция.**

*«Иисус сказал:*

*Я пришел бросить в мир Меч, Разорение и Войну...*

*Я пришел бросить на землю разделения, огонь, меч, войну (17)...*

*Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запыляет (10)...*

*Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали от меня, вдали от царствия (86)».*

Евангелие от Фомы. Апокриф

Он пришел изменить мир людей, само устройство этого мира, через изменение человека. Не путем нового устройства

человеческого общежития, внешних законов и предписаний, но изменением самой сущности человека, его отношения к другому человеку и новому осознанию смысла жизни.

Новое вино в старые меха не вливают! Иисус говорил о принципиальном отказе от богатства и частной собственности, отчуждающих людей друг от друга, об исключении этого понятия из самой психики человека. Опыт был, были несколько столетий жизни кумранитов, живших коммунистической общиной. Именно этот опыт пытался распространить Иоанн Креститель<sup>1</sup>.

Иисусу из каменной Галилеи противостояла всемирная империя, охватившая своими рубежами весь известный человечеству мир, в котором громадное и прекрасное море, покоившееся в берегах Европы и Африки, было действительно Средиземным.

Великолепно организованная, просвещенная, охватившая весь цивилизованный мир кольцом спрута, от Британских островов до северного побережья Африки, от Малой Азии до Испании, это была империя Зла, в которой основным по численности населением были рабы. Иисус был идеалист, как назвал бы его гений новых времен, Владимир Ленин, Иисус считал, что изменить мир можно Словом. Но Слово было у Бога, и оно осталось у Бога.

Наша революция была первой и единственной за две тысячи лет попыткой претворения в жизнь учение Иисуса из Галилеи, первой реальной попыткой изменить парадигму человека, его духовное обустройство и дать ему новые цели жизни на земле.

---

<sup>1</sup> Креститель от слова «крещение», этимология которого тяготеет к слову «крест», символу Распятия и жизни, отданной за других. Но Иисус погиб позже Иоанна, и термин обрел свой сокровенный смысл только после распятия Иисуса из Галилеи на кресте. То, что совершил Иоанн над Иисусом в Иордане, то что он задолго до Иисуса совершал над иудеями, «духовное приобщение», не могло называться словом «крещение», а сам он не мог получить прозвище Креститель.

Известен иконописный извод «Отрубленная голова Иоанна Крестителя», покоящаяся на блюде. В народе русском именно этой иконе ставили свечи с просьбами от головной боли! Как говорят в моем городе, — «тронуться можно мозгами!», или, ближе к смыслу, — «умереть — не встать!» — А. Д.

В отличие от Иисуса, вожди новой, последней в мировой истории, первой Всемирной революции, никаких иллюзий не питали относительно Слова и человека, они рассчитывали на принуждение, на силу и подавление всех, кто думает иначе, потому что тот, кто не с нами, тот против нас!

Они рассчитывали на гильотину счастья. В «мелкобуржуазной стране с самым закоренелым собственническим инстинктом населения»<sup>1</sup> обойтись без гильотины было немыслимо.

И речь шла именно о мировой революции, они хорошо понимали, что если в мире останется островок инакомыслия, им не удержаться в отдельно взятой стране победившего коммунизма.

Эта идея перманентной революции, выработанная Львом Троцким, никогда не забывалась. Сил не хватало, и революция шла приливами и откатами, но именно по этой причине Сталин пытался «отхватить» побольше Европы в сорок пятом году, именно поэтому мы лезли в Африку и Латинскую Америку при Никите, и даже в самом конце, при Брежневе, вошли в Афганистан<sup>2</sup>.

*Мировой пожар в крови / Господи, благослови!*

*— Мир хижинам, — Война дворцам!*

*— Смерть империалистам!*

*— Грабь награбленное, товарищ!*

*— В борьбе нет надежды на жалость ни в ком —*

*Коль слово бессильно, так действую штыком.*

*— Весь мир насилья мы разрушим*

*До основанья, а затем —*

*Мы наш, мы новый мир построим,*

*— Кто был ничем, тот станет всем!*

Мы не смогли понять слова Иисуса Галилеянина, сделав из них правила человеческого обихода, засахарив и застывив его образ, внешний, на византийско-русских иконах, и внут-

<sup>1</sup> Корней Чуковский. Дневник за 1922–1935 год. Москва, ПРОЗАиК, 2012. — *Ред.*

<sup>2</sup> Афганистан, выход к теплomu Океану, был давнишней мечтой Российской империи, как и вообще тяга к распространению, и только при Екатерине мы совершили ошибку, отказавшись от Аляски. — *А. Д.*

ренный, в нашей душе... Есть на русском севере иконописный извод, — «Спас Ярое Око», и любому, пытающемуся понять и услышать, стоит хоть раз заглянуть в яростные ослепляющие глаза Спасителя на этой иконе.

Мы не смогли провести в жизнь идеи нашей революции, потому что борьба это порыв, напряжение всех сил, иступление, а человек нуждается в отдыхе. *Шел я верхом, шел я низом, / Строил мост в социализм.*

Утомился и присел на бережку отдохнуть. У нас просто не хватило сил.

«С фронта ежедневно одни и те же вести: отступаем, везде отступаем. Из Питера тоже ежедневно: заседаем, во всех дворцах заседаем. Из провинции: грабим, всех и вся грабим». Время оперировало единицами измерения «масса» и «класс». При таком подходе человек исчезает, растворяется и его можно не принимать во внимание.

*Через тысячу девятьсот семнадцать лет —  
Опять Рождество и ясли опять.  
Но звёзды не те, и радостный свет  
Не тот, что вёл пастухов царя встречать.  
Пещеры нет, а под небом голубым —  
Революционнейший Вифлеем!  
Грядущее — луч!  
И прошлое — дым!  
И настоящее — откровение всем!  
Коммуна!<sup>1</sup>*

### **Вожди революции**

*Немногие способны вскрыть истинные  
пружины как этой, так и других  
подобных ей революций.  
— Простой народ ищет их слишком  
высоко — государственные люди слишком  
низко — истина лежит посредине.  
Лоренс Стерн.*

<sup>1</sup> Владимир Нарбут. Наше Рождество. — *Ред.*



Если это Вифлеем, «колыбель Революции», то волхвами были Ленин и Троцкий, и еще кто-то третий, которого съел, задумчиво похрумкивая, Сталин.

Вечно живой *«Ленин, российский крестьянско-рабочий царь... Полурусский, полутатарский череп, какой повсюду в России встречается тысячами. Небольшие, с огоньком, слегка косые глаза. Черты лица суровые, угловатые. Самое характерное — широкий лоб, уходящий в лысину. Лоб как бы подавил все остальные черты лица. Ничего сентиментального...»*

*У Ленина особые ораторские приемы. Он обращается с речью к тысячам, как если бы они вели о чем-нибудь дискуссию у себя дома, в тесной комнате с двумя-тремя студентами-сверстниками. Он пересыщает речь остротами, говорит оживленно, с сарказмом. Мысли бегут одна за другой. Выражение лица меняется непрерывно. Вот он смотрит с суровой серьезностью, вот прищурил левый глаз, вот хитро подмигнул... Он часто пускает в оборот крепкие русские словечки<sup>1</sup>.*

*И он умеет затронуть национальную струнку, этот коммунистический космополит... Он ведет за собой толпу так, что она этого не замечает... и говорит так, что каждый чувствует: этот знает, чего хочет. Во всей его фигуре есть что-то, напоминающее хищного зверя... Так говорит этот человек, без которого русская революция, да, наверное, и большая часть всеобщей истории — пошла бы совершенно другими путями»<sup>2</sup>.*

У Ленина, по свидетельству Горького, был «мелодичный детский смех»: *«Говорил сегодня с Лениным по телефону по по-*

---

<sup>1</sup> *ВиЛ* великолепно, часто и к месту, использовал русский мат, чем и был понятнее и ближе к народу. «Заговорили о Ленине. Кто-то восторженно: — А как он по матери ругается. Великолепно!» (Корней Чуковский. Дневник за 1901–1921 год. Москва, ПРОЗАиК, 2012). Выражения «ругаться по матери» и «матерно ругаться» кощунственные сверх меры, точно отражают некоторые особенности духовной жизни русского народа. А Корней Иванович, обильно цитируя в своих Дневниках современников, всегда, или, как правило, воздерживается от комментариев, но самим подбором этих цитат однозначно определяет свое отношение к окружающей действительности

<sup>2</sup> Американский корреспондент Григорий Попов о своих впечатлениях от выступления Ленина на пленуме Моссовета в ноябре 1922 года.

*воду декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает: — Что же это вас еще не взяли? Ведь вас (питерцев) давно собираются взять»<sup>1</sup>. Такие себе колокольчики, похоронный звон по России.*

*Покойник вечный только снится. Вот он на броневик взобрался. Вот скрылся от кого-то в шалаше. Вот бритый в парике... Вот Троцкого целует тайно на вечере с вином и хлебом<sup>2</sup>.*

Комендант Кремля Мальков вспоминал, как первого мая восемнадцатого года снимали памятник великому князю Сергею Александровичу, и «Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник...», и как потом Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович и другие впряглись в веревки, налегли, дернули и рухнул памятник на булыжник.

Яков Свердлов в мае восемнадцатого заявил: «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту гражданскую войну, что и в городе, только тогда мы сможем сказать, что мы по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для города». Это была формула Гражданской войны.

*Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но армии все же не создаются страхом.*

Лев Троцкий

Лев Троцкий создал Красную Армию и выиграл Гражданскую войну. Британский дипломат Р.Г. Брюс Локкарт записал о его выступлении в главном ресторанном зале «Метрополя» Дома Советов: «Как оратор-демагог Троцкий произво-

<sup>1</sup> Это, со слов Горького, приводит Корней Чуковский. Дневник за 1901-1921 год. Москва, ПРОЗАиК, 2012

<sup>2</sup> Вагрич Бахчанян. Фрукты-овощи. — А. Д.

дит удивительно сильное впечатление... Он казался воплощением воинственной ненависти». Сидит Лев Давидович, держа в руках земной шар, вертит его задумчиво и строго, — что бы такое с ним сделать!

Как и все, сколь либо значимое в истории человечества, эта революция была еврейским делом. Основания капитализма были заложены европейскими евреями еще в XII веке, — банковское дело, векселя, ценные бумаги, обезличивание капитала, понятие о его обороте, основы рыночных отношений будущего...

Евреи слишком часто вынуждены были покидать свои дома, голыми и босыми уходя в изгнание, с места на место, из города в город, из страны в страну. Все, за что они брались, — в торговле, в ремесле, в производстве, в журналистике и литературе, было ограничено и затруднено, им все давалось сложнее, чем окружению, и это воспитывало, оттачивая ум, обостряя восприятие и ускоряя движение...

Испанская инквизиция, после изгнания евреев из Испании, выявляла оставшихся по «запаху мысли», и, если кто-то выделялся особыми интеллектуальными дарованиями, инквизиторы начинали копать его прошлое, и почти никогда не ошибались.

Так можно было бы проанализировать и всеобщую историю людей, например, у меня странное убеждение, что Одиссей, хитроумный проныра, так выделяющийся на фоне своих соплеменников, такой яркий и особый, такой умный и хитрый, такой любопытный и любознательный, ни во что ставивший своих соплеменников, древних греков, — уж наверняка был евреем.

Основания революционного преобразования мира и разрушения капитализма в равной степени тоже еврейское дело, и участие в русском революционном движении евреев было преобладающим. Они организовывали это движение, сидели в тюрьмах, бежали из Сибири, и вновь возвращались, устраивали смертельные ловушки на русских царей и их министров, шли на смерть и отправляли на смерть...

Интересно и то, что все известные акты террора, направленные против советских вождей, стали тоже еврейским де-

лом. Когда революция в России выдохлась и выродилась, евреи перенесли ее в Палестину, создав там киббуцы, на земле, где несколько тысячелетий назад уже существовали коммунистические общины ессеев.

Евреи — это катализатор человеческой истории, и нет такого учения, религиозного, — христианство ли, ислам ли, не говоря о первооснове, иудаизме, нет таких идей, нет таких высот в науке и культуре, которых бы не достигали евреи. И достигнув, не обгоняли бы всех остальных представителей человечества. Никто никогда, нигде и ни в чем не мог и не смог им противостоять.

И по этой причине, все, чего достигали евреи, обращалось на пользу окружающим народам, среди которых они жили, и, неизбежно, рождало жуткий и последовательный антисемитизм.

*Невский в семнадцатом году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках, с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники<sup>1</sup>.*

Ведь лица, повернутые посолонь, это поле подсолнухов, а вот лица как одинаковые косые полтинники, это страшный безысходностью образ, когда ни договориться, ни убедить уже нет никакой надежды. Нарисовать бы так Питер, и чтобы даже лошадиные морды тоже посолонь.

И вовсе неважно, где сейчас солнце, какой час дня, не ночь ли вокруг, и в каком тысячелетии этот ужас. Это как на Театре, — в Город, в образцовом порядке въезжает Смерть!

Въезжает конница на кровавого цвета конях, их цвет есть естественный цвет многократно пролитой крови, и равномерно ступают конские копыта по булыжнику мостовой; не торопясь идет страшная конница и покачиваются в седлах живые, но больше мертвые уже всадники, все так же устойчивые в своих седлах, как и при жизни и булыжная мостовая от стекающих с всадников этих и их лошадей крови становится все красней и красней. И вот уже струй-

---

<sup>1</sup> Осип Мандельштам. Египетская марка. — *Ред.*

ки крови плывут по бульжнику, по канавкам брусчатки, и стекают шумной рекой и водоворотом из крови в уличные водостоки.

Все красное вокруг от крови, от мостовой до знамен и неба над головами всадников, и мертвая тишина стала в Городе, только равномерный стук подков ритмом смерти отражается в красных отблеском стеклах домов.

Течет река Смерти и поют всадники песнь, но не слышно слов этой песни, только звон копыт о брусчатку, ленива и небрежна посадка всадников в седлах, и один всадник все перемещается в их бесконечном ряду, появляясь то здесь, то там, в отдалении.

Странен он и страшен, так же кровав его наряд, лениво свисает нагайка с руки и пусты выражением глаза, но у него нет и глаз, провалом вечности светится его взгляд и горе встретившему взгляд этих провалившихся глаз революции.

И ружье странное у него за плечом, длинное оно необычно и штык к нему приторочен, впрочем необычен и этот штык, он изогнут косою и лезвие его зазубрилось от частых ударов и поржавело от ежесекундного потока крови.

Это красная конница входит в освобожденный Город, а по краям тротуара некому приветствовать героев, в мертвом городе идет славная конница, покорном и покоренном Городе. И по мере передвижения этой конницы вместе с ней передвигается и сплошная полоса красного цвета, охватывающая мостовую, стены домов, небо над Городом, уходит природное многоцветие из-под копыт коней и сменяется с каждым шагом вперед этой армии смерти единым окрашивающим все вокруг цветом пролитой и невыкупленной крови.

«Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет». Только на углу улиц Пушкинской (конечно же Пушкинской, по какой же еще улице идти парадом коннице победителей?) и Еврейской стоит маленький и печальный Гедали и приветствует сладкую революцию.

Он крутит ручку еще не реквизированного граммофона, красного цвета этот граммофон, и расходящаяся конусом

из широкого раструба граммофонной трубы вытекает в пространство улицы песня — «Маруся, раз, два три, садок зеленый, в саду ягода росла...»

Это веселая русская песня и как и во всех без исключения веселых русских песнях в конце ее фраз, в ударных паузах, непонятым страданием и надрывом отзывается в сердце веселый танцевальный напев. Ничего и никому хорошего не предвещая.

Вот проходя мимо, легкой небрежностью перегнувшись к Гедали с седла, аккуратно и заботливо перерезал ему горло сотник Галаньба, вовсе и не забрызгавшись этой еврейской кровью. Хорошо и то, что Гедали умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе.

Но все так же продолжает играть свою мелодию граммофон и уже сама собой, по приказу революции крутится его ручка. Да здравствует сладкая революция, шепчу я, склонившись над телом коченеющего Гедали, создателя несбыточного Интернационала, — все теперь и надолго будет у нас хорошо!

*— А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают... «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...*

Масса памятников-скороспелок поставили по всей стране, по утвержденным спискам, Марксу-Энгельсу-Степану Разину-Шевченко-Либкнехту... И все эти памятники за месяц-другой развалились и исчезли бесследно.

Где-то в провинции в списке заказан был Тимирязев, и поставили ему конный памятник с саблей наголо, никто и помыслить не мог, чтобы памятник был не революционеру. А на вопрос Луначарского, что написать на постаменте Достоевскому, кто-то чудесно ответил: «Достоевскому от благодарных бесов».

Ходасевич видел памятник Генриху Гейне, в виде чахоточного господина в бородке и кресле, а у ног его лежала то ли

Муза, то ли Лорелея, с огромным задом. А Степану Разину («и его ватаге») памятник поставили на Лобном месте Красной площади. Может быть, это такая ирония?!

В Сергиевском уезде перелили две тысячи пудов колокольных на памятник Ленину в Сергиеве. И стали в него колотить и заутрени и вечерни. Сотни бюстов вождей наштамповали для деревенских Ленинских уголков в избах-читальнях, руководителей которых называли «избачами». *Выходили из избы здорovenные жлобы, / Порубили все дубы на гробы.* Где, интересно, теперь эти идолы-матрешки, вряд ли кто-нибудь решился перелить их обратно на колокола.

*Вырождение языка и его обесценивание суть  
дегуманизация общества, пряником ведущая к фашизму  
в культуре.*

Сол Беллоу

Вы не вслушивались на каком языке сегодня говорит улица? Нет нужды читать новости и бежать к телевизору, — пройдитеесь улицей, послушайте. Небеса перестали нас слышать.

Поднимите голову, взгляните внимательно, — это вовсе не тучи, это кони Апокалипсиса несутся, спускаясь к нам с высоты небес!

Реформа русского языка от декабря семнадцатого года связана была с новым правописанием. Ее готовили задолго до революции, и большевики, по сути, просто проштамповали это дело.

Бунин ядовито плевался, возможно не зная истории вопроса. Например, «Война и Мир», до этой реформы правильно звучала, как «Война и Мир», то есть «война и общество», «война и миряне». Потом в пятьдесят восьмом году такую реформу готовили при Хрущеве. Сегодня ее вновь готовят в России.

...Еще в тысяча шестьсот семьдесят шестом году во «Всеобщей рациональной грамматике»<sup>1</sup> французы отметили: «Ибо

<sup>1</sup> «Грамматика Пор-Рояля», авторы философ Антуан Арно и грамматик Клод Лансло; аббатство Пор-Рояль (Пор-Руаяль) под Парижем. — *Ред.*

не следует представлять себе, что целую нацию легко заставить изменить столько письменных знаков, к которым она привыкла...»

Есть такая нация, — в начале двадцатого века Россия была страной неграмотного населения, не умевшего читать и писать. Примерно такой же она становится на наших глазах сегодня, в начале двадцать первого века. Самое время новой реформе под косноязычие вождей и народа. Но, если есть такая партия и такие вожди, значит, нет такой нации!

Интересен зачин таких реформ. Начинается все декларациями о развитии языка, что он не стоит на месте, что общество изменяется и прочее. Заканчивается любая такая реформа попытками упрощения языка. Мол, надо языковые нормы приблизить к бытованию народа. Если сегодня попробовать это сделать, придется перейти на мат и междометия. Бродский высокомерно отметил:

*Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа.*

*В противном случае народу следует говорить на языке литературы...<sup>1</sup>*

Здесь и глупость, как попытка заставить человекообразных заговорить на языке культуры, и мысль о том, что «сапиенс» в принципе способен развиваться, и истина, потому что любое упрощение и приближение к языку большинства являет собой катастрофу. Язык, разговорная речь — это единственный тест на культурное состояние нации.

Если мои современники, мой народ, говорят на русском языке, если то, что я слышу на улице, в аудиториях, на всяких ученых советах, есть русский язык, то я говорю на каком-то ином, и названия ему я не знаю.

---

<sup>1</sup> Иосиф Бродский. Нобелевская лекция, 1987. Красиво, ничего не скажешь против классика, но как он себе это представлял, наш народ, говорящий на языке Толстого? — А. Д.



## ***Гражданская война<sup>1</sup>. 1918–1920*** ***Конь белый и Рыжий конь***

*6. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.*

*2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.*

---

<sup>1</sup> Есть взгляд, что длилась она от 1917 по 1923 год, но это связано с тем, что понимать, какие именно события, под этой страшной войной. На самом деле, это была первая, и только начальная стадия братоубийственной войны. Она готовилась и созревала все Девятнадцатое наше столетие, была обусловлена наличием Крепостного права в столетиях предыдущих, всем странным и противоестественным сосуществованием по сути двух народов в единой стране, — сверхмалой образованной его части, и морем людей первобытного духовного состояния. Русская культура, которой мы так гордимся, была культурой только образованного меньшинства, островка в народном Океане, не умеющем читать и писать вообще (феномен национальной русской народной культуры вообще не был изучен, или рассматривался фрагментарно). Это была удивительная страна, где горсточка человеческой общемировой элиты существовала в Океане человекообразных существ.

Конечно, в основе Трагедии лежали и причины экономические, — слабость капиталистической решетки на первых шагах становления капитализма в России, малочисленность пролетариата в море обездоленной и злобно ненавидящей город крестьянской массы. В эту массу большевики вбросили бродильный фермент, пообещав «Землю крестьянам!» и так выиграли начальную стадию Гражданской войны. Последствия понимал Ленин, сказавший, что «крестьянство — это питательная среда мелкой буржуазии», из чего вытекала задача, на решение которой у него уже не было времени, а оставшиеся у власти были лишены понимания проблемы, но, главное, силы и уверенности для ее решения. У них оставался только топор, даже не рафинированная французская гильотина, но русский надежный Топор. Ленин и Троцкий рассматривали и оптимальный путь развития Революции, например, перемещением ее центра в Германию, где ожидалась своя революция и где пролетариат был подготовлен к такой задаче намного лучше, где он был многочисленнее и «сознательнее». Все, случившееся в России, было для них начальным эпизодом Вселенского Дела, в общем-то важным, но малосущественным. Это был тактический прием, но никак не стратегия. — А. Д.

3. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч...

12. ...я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.

13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.

14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.

*Откровение Иоанна Богослова. 6. 1-14*

Гражданская наша, самое страшное земное время людей, нет и не было, разве что предстоит, такой ненависти своих к своим, родных к родным, близких к близким... И феномен толпы, единственный, самый основной наш инстинкт, самый-самый главный. Наша гражданская война рождена была ненавистью, пропитана была кровью и легенд по себе не оставила. Это не одичание, одичание — это когда люди становятся животными в человеческом облике, это иное, — животное сбрасывает с себя груз навязанных правил и принципов поведения, и с облегчением принимает свой подлинный облик, — животного.

*Чёрная кровь из открытых жил,  
И ангел, как птица, крылья сложил...*

*Это было на слабом, весеннем льду  
В девятьсот двадцатом году.*

*Дай мне руку, иначе я упаду  
Так скользко на этом льду.*

*Над широкой Невой догорал закат.  
Цепенели дворцы, чернели мосты —*

*Это было тысячу лет назад,  
Так давно, что забыла ты<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Георгий Иванов. — Ред.

*Первая конская армия Буденного*<sup>1</sup>, армия коней. Такую армию для Гражданской войны создал Нестор Махно. Ничего страшнее, безжалостнее и преступнее гражданской войны не бывает. Это опыт гражданских войн в Испании, Севера и Юга в США (где роль наших белых играли южане, а красных — северяне, с той же ненавистью быдла к аристократии духа), но конечно в родном отечестве этот ужас проявился самой полной мерой.

Война любая есть ужас и обрушение всех норм человеческого бытия, но все же, именно в войнах, начиная с века восемнадцатого, было регламентировано какими-то правилами, если о таком вообще уместно говорить: обращение с пленными, с госпиталями, с санитарными поездами. В гражданской войне не бывает даже и этого. Генералам таких войн удастся террором удержать лишь общее направление перемещения человеческих, вооруженных и озверевших, масс. Кровавая вакханалия, попустительством этих генералов, царила в обоих лагерях, в белом и красном.

А были и иные силы, националистические на Украине, всякие Махно и прочие Петлюры, и многочисленные многоцветные атаманы. Все это резало, грабило, калечило тела и души своих соотечественников, но, в первую очередь, в рамках революционного именно героизма, уничтожало евреев. Первая конная Буденного, бесславно уходя с польского фронта, резала, грабила и убивала мирное, в первую очередь, еврейское население.

В «Конармии» Бабеля есть нечто пострашнее этого моря крови и слез, этих искалеченных людей и изуродованных судеб, — атавизм, вырождение, переход грани в направлении одичания и потери человеческих свойств. Но и животное так не может и так себя не ведет!

В гражданских войнах России, — в первой, Смутного времени, и последующих, — разинщине, пугачевщине, и во вто-

---

<sup>1</sup> Вагрич Бахчанян. У Буденного было совершенно круглое и совершенно плоское лицо, а на нем маленькие удивленные глазки и разновеликие усы вместо часовых стрелок. Тикали ходики, отщелкивали деления усы-стрелки и в такт им прыгали круглые зрачки в круглых кошачьих глазах, — в правый угол, потом в левый угол, и вновь в правый... — А. Д.

рой, о которой речь, — исчезают люди, и вместо них являются монстры. Это «*русский бунт, бессмысленный и беспощадный*», — потому бессмысленный, что никто в этих толпах и не думает чего-то добиться, что-то отвоевать, что-то построить, иное, новое, — это всплеск, это неутолимая жажда умыться кровью.

Было две репетиции Холокоста, украинских, времен хмельницкой смуты и гражданской войны. В восемнадцатом—двадцатом годах на Украине произошло свыше 1200 погромов, в них погибли от шестидесяти до двухсот тысяч евреев, и еще столько же были искалечены<sup>1</sup>. «Повстанцы» топили, зарывали заживо, укладывали штабелями на рельсы и пускали паровоз, готовили «коммунистический суп», — нескольких евреев-коммунистов заживо варили в большом котле в самом центре местечка и заставляли всех остальных есть это варево, и попробовавшие навсегда теряли голос. Данту, великому выдумщику всяких страшилок, такое, такая Человеческая комедия, не снилась.

*Размахами махновской сабли,  
Врубаясь в толпы облаков,  
Уходит месяц. Озими озябли,  
И лёгок холодок подков.  
Хвост за хвостом, за гривой грива,  
По косогорам, по ярам,  
Прихрамывают торопливо  
Тачанок кривобочих хлам.  
Апрель, и — табаком и потом  
Колеблется людская прель.  
И по стволам, по пулеметам  
Лоснится, щурится апрель.  
Сквозь ляск мохнатая папаха  
Кивнёт, и материцины соль  
За ворот вытряхнет рубаха.*

---

<sup>1</sup> О. Будницкий. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). Москва, 2005. — *Ред.*

*Бурсацкая, степная голь!  
В семерках долгих и зловещих,  
Ползёт, обрезы хороня...*

*Рассвет. И озёми озябли,  
И серп, без молота, как герб,  
Чрез горб пригорка, в мыть дорожных верб,  
Кривою ковьялет саблей<sup>1</sup>.*

Иван Бунин в «Окаянных днях» и помимо все возвращался и возвращался к пересказанной ему истории, как, в послереволюционном каком-то году, крестьяне разорили имение его родственников, и, поймав павлинов, ободрали им перья и пустили их, с содранной кожей, обливающихся кровью, метаться в агонии, и как весело смеялись эти крестьяне.

Это наглядный символ, это и есть отношение к красоте нашего родного народа, — к любой красоте, выходящей за границы убогой полезности.

«Конармия» — прямое и единственное мне известное развитие пушкинских слов о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном!». Это книга о русском народе, его самой темной и мрачной, пугающей сущности.

В Европе у ее народов бывали кровавые страницы истории, — боролись цеха с феодалами (за права!), — боролись католики с протестантами, — боролись с монархией, но всегда была цель, чего-то они, борющиеся, хотели достичь, что-то изменить, добиться свободы, прав.

Наш бунт, русский, лишен цели, — он бессмыслен, — но страстное желание, время от времени, — вымыться в крови, — вывалиться в гущу дерьма, — изувечить и растлить самое дорогое и близкое, а потом, выползти из кровавой грязи, приползти, — и смириться, и плакать, и каяться.

*В теплушке в восемнадцатом году красногвардеец  
к одной женщине:  
— Блины печь умеешь?*

---

<sup>1</sup> Владимир Нарбут. Рассвет. — Ред.

— Нет.  
 К другой. То же самое.  
 — А ты?  
 Она: умею.  
 И этим спаслась. Тех выкинули с поезда на ходу.  
 Нам барынь не надо<sup>1</sup>

Ну, народец! Ну, Родина-мать!

*Уродилась проказница,  
 Всё б грешить и крушить,  
 Согрешивши, покаяться  
 И опять согрешить,  
 Барам в ноженьки кланяться,  
 Бить челом палачу...*

*Не хочу с тобой каяться  
 И грешить не хочу.*

*По городу метались музы и эриннии Февральской  
 революции — грузовики и автомобили, обсаженные и  
 обложенные солдатами...*

*Посреди парка дуб, под дубом могила. Из этой могилы  
 каждое правительство вытаскивает чужого покойника  
 и вкапывает туда своего<sup>2</sup>.*

Гайто Газданов в романе «Ночные дороги» описал, как участник и свидетель, атаку красноармейцев в конном строю на бронепоезд белых, на сплошную стену пулеметного огня. Эта была яростная атака людей, шедших на смерть, рвавшихся достать, изрубить, искрошить ненавистных врагов. Но люди, вот так отдающие свои жизни, движимы не только жаждой крови и грабежа и насилия, ими движет что-то еще, выше нашего понимания.

---

<sup>1</sup> Корней Чуковский. Дневник, 1936–1969. Москва, ПРОЗАиК, 2012. Еще одна, близкая по страшному одичанию и зверству сцена, тоже происшедшая в теплушке, описана в рассказе Бабеля «Соль», в Конармии. — А. Д.

<sup>2</sup> Виктор Шкловский. Еще ничего не кончилось... У нас на аллее Славы в период оккупации были захоронены немецкие и румынские солдаты, и, очень возможно, они так там и лежат, рядом с нашими ребятами, — жертвы самой страшной войны человечества. — А. Д.

И потому, если и может состояться в России общий памятник белому и красному движениям, то только как памятник скорби и покаяния. Перед всеми невинно убиенными. Но только перед ними, а не как памятник активным идеологам и участникам этой позорной и преступной бойни. В гражданской войне не бывает героев, бывают только преступники и жертвы!

### *Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона<sup>1</sup>*

Это не атеизм, но врожденная ненависть к любому оттенку человеческого духа. Поэтому ломали храмы, жгли иконы и выкалывали на древних досках глаза великомученикам. Не по принуждению, не по науськиванию, а просто по ненависти к запаху человеческому.

В ноябре семнадцатого они ворвались в Кремль, изранили собор Двенадцати апостолов, повредили Рождественский и Архангельский соборы, выбросили из Патриаршей ризницы украшения российских патриархов, митры, поручи и старинную церковную утварь, втоптав это в кучи песка и пепла.

Храм Николая Гостунского исписали похабщиной и у входа в него устроили отхожее место; расстреляли образы Казанской иконы Божьей Матери, что на Троицких воротах и святителя Николая чудотворца на Никольской башне, сбили крест с одной из глав Василия Блаженного. В Кремле уничтожили Чудов и Богоявленский монастыри. Закрыли Троице-Сергиеву лавру. В августе двадцатого вышло постановление о «повсеместной и окончательной ликвидации святых мощей». Так и написано в этой коммунистической бумаге, — «святые мощи».

*Слом Иверской часовни. Китеж.*

*И ругань — мать, и ласка — мать...<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Народная пословица. — *Ред.*

<sup>2</sup> Игорь Северянин. «Моя мать», это родная мать, мама, мамочка, это ласка и жалоба. Но ударившись, испугавшись и разозлившись, мы говорим «твоею мать»... Так и живем, между «моей матерью» и «твоей матерью», — между любовью и ненавистью, между отчаянием и надеждой, между святой верой и безысходностью. — *А. Д.*

Я держал в руках русские северные иконы с выколотыми глазами, иконы великомучеников, и можно было не читать надписи, идущие поверх головы святого, но переведя взгляд на выколотые его глаза, прошептать, — Великомученик! Это были аналойные, домашние намоленные иконы, столетия сопутствовавшие жизни предков, оберегавшие в бедах, утешавшие в печалях, принимавшие слова радостной благодарности. И, когда потомки этих россиян выкалывали глаза на иконах, это они выкалывали глаза своим предкам и потомкам, это они лишали зрения самих себя навсегда! Вот уже тысяча лет, как мы христиане, и все эти столетия мы ведем упорную и непримиримую борьбу за возврат к язычеству и идолопоклонству.

История русского христианства — это история непримиримой тысячелетней борьбы русского народа с Богом!

Разбитые колокола, сброшенные с небес, порубленные иконы, горящие в огне старые намоленные доски... а вокруг простые русские лица... с плакатом «За новый быт безбожников». И все это пятидесятилетие, непрерывно, постановлениями и решениями, на самом высоком уровне шла борьба с Богом, как с самым ярким и яростным идеологическим противником. Повизгивая, вставали на задние лапы, пытаюсь дотянуться в эти высшие сферы, а на земле сметали все, — храмы, монастыри, иконы, кресты и, главное, — всех, кто верил...

Борьба с Богом была борьбой с конкурентом за отсутствующие души прихожан. Современники отмечали веселое оживление в народе от идеи кремации. Это была часть борьбы с Богом, огненное языческое жертвоприношение. Слово «Бог» перестали употреблять вовсе и писать его стали только с маленькой буквы. *Вороне где-то бог послал кусочек сыра, / Но бога нет, / Не будь придира, / Ведь нет и сыра.*

Самое страшное было для них, чтобы никто не провел параллель с источником их идеологии, чтобы никто не догадался, откуда они пришли с этой идеей равенства и братства, с миром, который они называли нашим и новым.



## **Двадцатые. 1921–1930**

*«Иисус пришел, распяв на кресте мир»  
Евангелие от Филиппа.*

Апокриф

*14-14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. 15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. 17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18 И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздь винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.*

*20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий  
Откровение Иоанна Богослова. 14. 14-20*

## **Эмиграция**

*...Герб изгнанья:  
на чёрном фоне звёздный меч<sup>1</sup>.*

Мой дед Гордей был тогда биндюжником в Одессе, и рассказывал мне, как отвозил в порт белого офицера с семьей, — сидели на узлах скарба<sup>2</sup> испуганные дети, плакала женщина, мужчина безотрывно смотрел на улицы и на дома, заминал, прощался...

Они не все взяли, узлов было много, корабль гудел, торопился к отходу, и так в моем доме оказался столовый прибор, для соли и специй, в красивых изысканных формой бутылоч-

<sup>1</sup> Владимир Набоков. — Ред.

<sup>2</sup> Какое емкое слово, — «скарб», — не имущество, даже не «пожитки», но именно от слова «скорбь». — А. Д.

ках, в серебряной основе. Офицер подарил его деду. Мы им тоже не пользовались, как-то он, я это осознал погодя, не подходил к скудности нашего быта, он нуждался в скатерти на столе, к нему надо бы серебряные ножи и вилки. У нас все было просто, и такая красота не вписывалась в наш столовый быт.

Но там, где оказались эти беженцы, думаю, он тоже бы им не пригодился, по тем же причинам. Как символично они оставили дома соль, — какая же жизнь без соли?! Она и до сих пор там, в солонке, теперь уже в моем доме, — соль изгнания...

*Всю ночь шёл дождь...*

*Был на реку похож шоссейный путь.  
Шумел плакат над мокрым павильоном.  
Прохожий низко голову не грудь  
Склонял в аллее, всё ещё зеленой...*

*Над падалью, крича, носились галки,  
Борясь с погодой предвещали зиму,  
Волна с разбега от прибрежной гальки  
Влетала пылью в окна магазинов...*

*Всё было сном. Рассвет недалеко.  
Пей, милый друг, и разобьём бокалы...*

*Мы поняли, мы победили зло.  
Мы всё исполнили, что в холоде сверкало,  
Мы всё отринули, нас снегом замело,  
Пей, верный друг, и разобьём бокалы.*

*России нет! Не плачь, не плачь, мой друг,  
Когда на ёлке потухают свечи,  
Приходит сон, погасли свечи вдруг  
Над ёлкой мрак, над ёлкой звёзды, вечность.*

*Всю ночь солдаты пели до рассвета.  
Им стало холодно, они молчат понуро.  
Всё вытито, они дождались света,  
День в вечном ветре возникает хмуρο.*

*Не тратить сил! Там глубоко во сне,  
Таинственная родина светает.  
Без нас зима. Годы, как белый снег.  
Растут, растут сугробы, чтоб растаять.*

*И только ты один расскажешь младшим,  
О том, как пели, плача, до рассвета,  
И только ты споёшь про жалость к падшим,  
Про вечную любовь и без ответа...*

*Борт парохода был высок, суров.  
Кто там смотрел, в шинель засунув руки?  
Как медленно краснел ночной восток!  
Кто думать мог, что столько лет разлуки...*

*Кто знал тогда... Не то ли умереть?  
Старик спокойно возносил причастье...  
Что ж, будем верить, плакать и гореть,  
Но никогда не говорить о счастье<sup>1</sup>.*

За кормой корабля летел шмель, он тревожно жужжал, он не мог оторваться так далеко от родной земли, это было гибельным для него, — но и бросить своих он был не в силах. Он уговаривал вернуться, пока не поздно.

— Да, — жужжал шмель, — да, это смертельно опасно, но, — и голос его вдруг окрашивался печалью: — Не то ли умереть? И лечь в родную землю, землю предков!

— Это пройдет, все, оно минует, забудется, и вот, когда пройдут многие годы, когда ты наконец успокоишься, когда чуть уляжется боль, — настанет весна. Она будет теплая, ранняя, такой как иногда бывает весна, и ветерок будет ласков, тепл, смешлив, такой, что ему бы в пору повязать ленточку, — вот этой весной, когда прогреется земля, и ты ощутишь ее тепло, я к тебе прилечу, и стану жужжать, стану петь над тобой. Ты вспомни, ведь мы, шмели, мы поем только по-русски!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Борис Поплавский. — *Ред.*

<sup>2</sup> Он не все знал, шмель, и предстоящее ему было неизвестно, а если б узнал, он утратил бы от горя способность жужжать. Те, кто ему поверил, кто остался и сложил оружие, лег в эту землю, сделав ее родной навечно.

И он отстал шмель, ему не хватило сил удержаться за кораблем. Наверное, сил не хватило и вернуться домой. Он ведь так далеко улетел за ними. Так мы потеряли Родину и утратили к ней пути. Так мы потеряли себя. И часто, в минуты горькой безысходности и глухого отчаяния, мы слышали и повторяли: — Не то ли умереть?

Всю ночь шел дождь, и утро было пасмурным, полным грусти и печали, и давило сердце тяжестью предчувствий. Я вижу как судно, пыхтя трубой, огибают маяк, еще тот, настоящий, старый, овального профиля, оно накренилось на бок, к берегу, потому что на этом борту скопились люди, они глядят на покидаемый город, на порт, на лестницу нашу ковровую, единственную в мире, а над ней виден купол Театра и даже видна колокольня Преображенского собора.

Город вышел прощаться, выстроился, торжественно и печально, все видимые на высотах дома, все деревья, и все живое, — оставленные дома собаки и коты, а птицы поднялись в воздух и далеко в море слышны их тоскливые крики, — скорбные крики, и каждый царапает сердце когтистой лапой тоски.

Вот миновали Ланжерон и Отраду, вот аркадийская бухта, берега счастливой Аркадии, где молодыми мы гуляли вечерами по набережной, где памятный ресторан над морем...

Вот прошли Малые фонтаны и идем Большими, но уже далеки и неразличимы берега, но впереди еще Крым, тоже мы, наша юность, там Ялта, там Коктебель, там счастье...

Я стоял и смотрел, но смотрел не на берега покидаемой родины, а на них, беженцев и лишенцев, на слезы в глазах мужчин, на прикушенные губы женщин, и чувствовал, как мокрыми становятся мои щеки и губы.

*И не Бог, и не ночь, и не Млечный путь,  
И не знаю кто? — кто-нибудь...  
И не свет, и не зов, и не срыв в грозу, —  
Просто так: граммофон внизу:*

---

До пятидесяти тысяч белых офицеров и солдат были расстреляны в Крыму победившими большевиками. Они лежат в этих расстрельных ямах и над ними нет памятного камня, нет слов о прощении, слов скорби. — А. Д.

— Купите бублички,  
Горячи бублички,  
Горячи бублички  
Я продаю,  
И в ночь ненастную  
Меня несчастную...

Где?... Где... Припомните, где так поют?...

*Там, на площади — огонёк.  
Там, на паперти, — снег залёг.  
Там — вся правда, но путь далёк...*

*Пока не поздно  
Купите бублички.  
Пока не поздно.  
Пока мы живы<sup>1</sup>.*

### **Послевоенный Париж.**

*Париж, как пёс, лежит на Сене*

Сразу после революции немногие покинули Россию. Люди верили в перемены и надеялись на возрождение страны, но Гражданская война предрешила массовость эмиграции. Теперь беженцами стали все.

В двадцатом, после разгрома армии Врангеля, «белые» плывут в Константинополь, оттуда в Болгарию и Югославию, но все пути вели во Францию. Их называли там «белыми», всех, не только солдат Белой армии. Перед одним из наступлений генерал Корнилов приказал своим добровольцам пришить белую ленту на фуражку или папаху, чтобы в бою была возможность отличить своих, и так родилось это название «Белая армия».

А большевики присвоили красный цвет, крови и революции, но «красный» для русских означает и «красивый», — «красна девица», «красный товар» (дорогие ткани, так назывались ма-

---

<sup>1</sup> Мария Вега. 1929. — Ред.

газины и даже улицы, где торговали таким товаром, например наш одесский Красный переулок), «красный молодец», Красная площадь. Красна девица-товар-молодец.

В двадцать втором году были высланы философы и ученые. К ним присоединились нэпманы и советские чиновники, бежавшие из всяких зарубежных представительств. В Париже в послевоенный период и до тридцать девятого года было около сорока пяти тысяч русских, а русскими в Париже называли всех наших, собственно русских, украинцев, грузин и армян, и, конечно, евреев.

Так белый цвет распался на составляющие и стал радугой. Так образовался русский Монпарнас, последняя свободная русская территория. Большинство русских работало на автомобильных заводах Рено и Ситроен и в перерабатывающей промышленности.

Так в пригороде Парижа возник район Бьянкур с русскими магазинами, ресторанами, отелями, книжными лавочками и прачечными. Такси марки Ситроен, — русская птица-тройка, запряженная с зарею выходцем из Одессы, евреем Цитроном.

Впрочем, чаще всего русские таксисты работали по ночам, и один из них, Гайто Газданов, так и назвал свой лучший роман, окрашенный нашей кровью и болью, нашей неприкаянностью в мире, где никак не может помочь бесконечность наших и не наших пространств, — «Ночные дороги».

Русская мода и мода на русских в Париже. Ежегодные русские сезоны Дягилева. Молодые писатели России, — Владимир Набоков, Владислав Ходасевич, Алексей Толстой, Довид Кнут, Борис Поплавский... Русская философская школа, — Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Николай Лосский, Лев Шестов...

Именно на двадцатые годы приходится расцвет Парижской школы и признание Сутина и Шагала. И, если Марк Шагал был еврейской кровью на русских снегах, упавших на парижские бульвары, то Хаим Сутин сошел прямо из первых дней Творенья мира.

Русский Монпарнас. В кафе «Ля Боле» — «Чаша», что неподалеку от площади Сен-Мишель, где по легенде бывал еще

Франсуа Вийон, собирались молодые художники и поэты. Сюда заглядывали Георгий Адамович и Георгий Иванов. Позже они все перейдут в «Ротонду», где летом мраморные столики стояли прямо на тротуаре, а зимой все перемещались вовнутрь, где была знаменитая громадная чугунная печь.

Сюда приходил голодный Сутин, тогда еще бедствовавший, бывали Билибин, Михаил Ларионов, Иммануэль Мане-Кац, Пабло Пикассо. Эмигранты ночевали в нищенских номерах на Гобеленах, питались в студенческой столовой на улице де Воланс, целыми днями сидели в знаменитой Тургеневской библиотеке.

Борис Поплавский с горечью писал: *«Я не участвую, не существую в мире, / Живу в кафе, как пьяницы живут»*. Если хватало мелочи на чашечку кофе, в «Ротонде» можно было сидеть долго и тебя не выгоняли на холод. Бульвар Монпарнас стал для них продолжением Невского проспекта и Тверской.

Колесит по ночному Парижу Гайто Газданов, присматривается, вслушивается в страшное прошлое, вглядывается в окружающий ночной и чужой мир. Иногда ему кажется, что он ведет улицами Парижа не такси-ситроен, но «белый» бронепоезд, как когда-то, и тишина ночных парижских улиц вот сейчас, через мгновение, внезапно нарушится яростной атакой красных конников, выскочивших с ближайшего перекрестка, что уже слышен перестук копыт и напряженное дыхание Смерти...

Георгий, ставший Гайто<sup>1</sup>, он остро чувствовал несоответствия в наших понятиях, — за плечами была Кровь и Смерть гражданской страшной войны, но здесь, в ночном Париже,

---

<sup>1</sup> Великолепно владея французским, ему пришлось освоить аргю, язык простонародья, потому что литературный французский, у простого водителя такси, отпугивал пассажиров, — общество жестко делилось на сословия, и это проявлялось в языке, проводя жесткую сословную грань, ощутимую всеми. Этот феномен, разделяющий общество, лег в основу «Пигмалиона» Бернарда Шоу. «Выравнивание» языкового уровня у сегодняшнего населения связано с падением языковой культуры и является страшным признаком деградации общества. — А. Д.

были Тление и Разложение живой ткани человеческого бытия. Он вспоминал, вслушивался, крутил руль, тормозил на стоянках, колесил ночным Парижем, и знал, без слов и определений, знал наверняка, Смерть, — там, была человечнее жизни, — здесь.

Он крутил рулевое колесо, поворачивал и вращал вокруг себя Париж, рассматривал его улицы и площади, как окна витрин, вглядывался на ходу, в них стояли манекенами парижане, видные и понятные догола, надменные буржуа, до которых мы не добрались, клошары и проститутки, и убогий трудовой французский люд, и что-то шептали его губы на крутых поворотах, что-то по-русски, и обличительным звучало каждое русское слово, не глядя на смысл и уровень звука.

И все же, это была территория свободы, где они, молодые, потерявшие Родину, могли говорить и творить. И лучшее, высоты художественного освоения мира, оставшиеся недостижимыми до сегодняшнего дня, было создано тогда, нами, в нашем Париже.

*Тихим вечером в тихом саду  
Облака отражались в пруду.*

*Ангел нёс в бесконечность звезду  
И её уронил над прудом...*

*И стоит заколоченный дом,  
И молчит заболоченный пруд,  
Скоро в нём и лягушки умрут.*

*И лежишь на болотистом дне  
Ты, сиявшая мне в вышине<sup>1</sup>*

Это о родине, — в России голод, разруха и теснота. Людей выселили из своих квартир, лишили имущества. Заселили клоповники, поделившись с большинством, реализуя лозунг «Грабь награбленное, товарищ!»: «...в квартирах установил-ся особый запах — от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной

---

<sup>1</sup> Георгий Иванов. — Ред.



*воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок — такому-то, два звонка — такому-то, три звонка — такому-то»<sup>1</sup>*

Эти записочки так висят до сегодняшнего дня. Михаил Пришвин записал в двадцать третьем году: *«Я очутился в Москве в маленькой сырой комнате, хуже быть не может! Мебелью была в ней простая лавка, на ней лежала съеденная молью енотовая шуба поэта Мандельштама, под голову я клал свой мешок с бельем. Сам Мандельштам лежал напротив, во флигеле, с женой на столе».*

Эта мандельштамовская шуба стала литературным знаком, кто только о ней не писал, а что на столе, как покойники, — так недолго осталось ждать. В три цвета времени была окрашена эпоха, — в красный, от крови, широким мазком покрывшей карту России, серым, — от цвета скудных одежд, и белым, — от голодной и холодной белизны этих лиц. Серые улицы, белые маски-лица, красный снег...

На улицах Москвы деревянная обувь. Слышен перестук, то там, за углом, то тут. Значит, еще живы! Шинель до пят с суконными петлицами — «разговорами» вместо погон, португепя с маузером на боку, длинноухая буденовка с двойной звездочкой, из сукна и металла поверх, в красной эмали, кирзовые, дождавшиеся еще меня, сапоги. Женщины-активистки в красных косынках

Самосуды, один из которых так ярко описал Мандельштам в «Египетской марке». Просто крови, и от запаха ее и вида, еще и еще крови! *«Тут была законом круговая порука... Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь... как его самого взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое каре. Тут работал бондарь — страх...»* У Никольских ворот толпа растерзала карманного вора, умолявшего отвести его в милицию... На Ярославском вокзале Москвы забили до смерти вора-карманника... *«Ведем топить на Фонтанку ... одного человечка, за американские часы, за часы белого кондукторского серебра, за лотерейные часы».*

---

<sup>1</sup> Корней Чуковский. — Ред.

*...Вообще это было время власти на местах и террора на местах. Каждого убивали на месте. На Петроградской стороне в части украл мальчик-красноармеец у товарища сапоги. Его поймали и присудили к расстрелу. Он не поверил. Волновался, плакал, но не очень. Больше из приличия. Думал, что пугают, и хотел угодить.*

*Его отвели в сад лица и пристрелили...<sup>1</sup>*

Батюшка-государь, умильный образ русских сказок и женских душеспасительных романов. Локкарт вспоминал, с каким поразительным равнодушием население бывшей державы приняло новость об убийстве царя и его семьи. Локкарт просто не знал нашей истории.

Страшная судьба у властителей России. Бориса Годунова, сменившего на троне царя-параноика, Ивана Великого, погубил чиновничий мир, как и его сына, талантливого и образованного юношу Федора; Дмитрия Самозванца, за попытку строить страну по образцам европейским, забили насмерть и вывалили труп в грязь; Петр Первый умер от непосильных трудов перестроить на человеческий лад Россию, предварительно убив собственными руками своего сына Алексея; Петра Третьего в борьбе за власть убила жена, матушка Великая Екатерина; Иоанна Антоновича, законного русского государя, сгноили в казематах; императора Павла убила кучка заговорщиков за попытку навести порядок в стране, убрать воров и бездельников; Александр Первый, Благословенный, утратил свои юношеские романтические порывы и задохнулся в родном воздухе, где такие порывы неуместны; Николая Первого, начавшего правление кровью, убило поражение в Крымской компании; Александра Второго, Освободителя, избавившего русский народ от рабства, убили народовольцы, как и Александра Третьего, Миротворца; судьба Николая Второго, неспособного, была predetermined...

*Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно...*

---

<sup>1</sup> Виктор Шкловский. Еще ничего не кончилось... — Ред.

*Какие печальные лица  
И как это было давно.*

*Какие прекрасные лица  
И как безнадежно бледны —  
Наследник, Императрица,  
Четыре великих княжны...<sup>1</sup>*

Какая страшная судьба, — непосильная ноша, и эти глаза вокруг, в них вера и упование, в них насмешка, в них лесть, в них мольба, в них ненависть... И некому сказать, не с кем поделиться... И с осознанной юности не иметь покоя, пусть минуты, пусть ненадолго, но забыть обо всем этом, — о гибнущей империи, о страшной тяжести непосильного дела, о коршунах, сидящих вокруг и висящих над головой в ожидании добычи...

О судьбе детей, девочек ни в чем не повинных, о мальчишке больном, обреченном...

— штандарты, стяги, эмблемы...

— парады, приветствия, торжественные марши...

— клятвы, молебны, восторженный рев толпы...

...он бы все это с радостью отдал, — за тишину семейной жизни, за отсутствие всех этих невысказанных обязательств, за обыденность жизни, дарованной каждому смертному, на выбор, — а он был обречен! Он был средней судьбы, — учителем в школе, средним, бухгалтером где-то, не главным, офицером, не выше капитана, чиновником-счетоводом, а выпало быть Императором всемирной державы, выпал кипящий и бурлящий котел. Он был козел отпущения, и добро бы, — уйти живым, унося грехи многих, но уйти ему было дано только в насильственную смерть, а многие остались яростно состязаться в смерти друг друга.

Эта пуля, летящая в голову, когда он спускался в подвал, и уже понимал, что каждая ступенька ведет в небытие, — он от рождения своего ждал эту пулю, а она очень долго летела...

---

<sup>1</sup> Георгий Иванов. Этот крестик эмалевый, — им гордился любой награжденный, но если ты царь, то гордиться тут нечем, самому тебе и всем вокруг непонятно, от кого ты получил этот крестик. Это проявление страшной формулы: «Велик аллах, и нет у него приятелей». — А. Д.

Она была вздохом свободы и выдохом успокоения, — и вот, наконец, долетела. Пуля, это не больно, — как если бы кто-то тебя внезапно окликнул из детства<sup>1</sup>.

И эти, стрелявшие в невинных детей. Ну, Государь-император, — и виновен во всем, и белые подходили, и вот, чтобы они не получили знамени. Но нет, не было и не может быть никакой самой светлой идеи, ради которой можно послать пулю в невинное существо, в ребенка. Даже если и была она всенародной и светлой, с этого мгновения она обречена стать своей полной противоположностью и народу этому принести только мучения и несчастья!

Судьба русских царей есть зеркальное отражение народной судьбы. Да и то осмыслить, каков это народ. Он любовно помнит царя Ивана, кровавого паука, параноика, но не знает имени царя Бориса, так много сделавшего для России.

Сегодня он помнит и чтит, как икону, кровавого паука и параноика Иосифа Сталина, скорбя об утраченном добром времени... Интересно, что оба эти правителя носили еврейские имена. Любимые герои наших сказок народных, — Иван-дурак, всегда побеждающий старших и умных братьев, и Соловей-разбойник, ожидающий каждого из нас, как родного брата.

Да, и еще развилочный камень на перекрестке наших дорог, на котором записана наша судьба, — пойдешь налево... или свернешь направо... ничего хорошего там тебе не светит, а уж если прямо пойдешь, полный тебе п.....! А назад нам дороги нет, ты только вспомни, что там у нас позади!

Но в эти же дни в переполненном храме Христа Спасителя, вмещавшем двенадцать тысяч человек, был избран на патриаршество митрополит Московский и Коломенский Тихон, сказавший пророческие слова: *«Подобно древ-*

---

<sup>1</sup> Виктор Шкловский. О Маяковском *«Огнестрельная рана — это не больно. Впечатление такое, как будто тебя кто-то внезапно окликнул»*. — Ред.

*нему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить ко Господу: Для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашел милости перед очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя народа сего? ...Отныне на меня возлагается попечение во всех церквях Российских и предстоит умирание за них во все дни».*

Святейший Тихон, патриарх всея Руси, уже в январе семнадцатого предал анафеме гонителей Церкви и сеятелей братоубийственной войны. И никогда, ни разу, несмотря на притеснения и угрозы, на застенки ЧК, на аресты и принуждения, Святейший патриарх Всея Руси Тихон не отступил, защищая народ, Церковь и справедливость.

*Продолжение следует...*

## К 120-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

«Зовут её Ася. Но лучшее имя ей – Пламя...»

*«Дорогой мой друг, <...> Не писал я Вам больше из-за приготовлений к приему нового члена нашей семьи, – хлопот было много вместе с домашним устройством в это время: но их оказалось еще больше с прибытием Настасьи Ивановны в мир.<...>*

*Девушка наша уродилась маленькая-маленькая, точно карлица, весила она семь с четвертью фунтов. Сравнительно с Мариной она представляется какой-то половинкой <...>*

*29 сентября 1894*

*<...> Настасья мала телом, но велика разумом, ибо беспокоит мать не более трех раз в ночь <...>*

*15 октября 1894*

*Из писем И. В. Цветаева  
к своему университетскому учителю  
и другу И. В. Помяловскому*

### Сентябрь. Двадцатое

*Божественная золотая осень девяносто второго года щедро одарила меня.*

*В подмосковном Переделкине, в Доме творчества писателей шла подготовка к столетию Марины Цветаевой: телевизионщики снимали и записывали с воспоминаниями о Поэте ее сестру, Анастасию Ивановну.*

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

*Когда умолк шум голосов и стрекот камер — все уехали, я присела к ней на скамеечку под желтеющей акацией и поделилась своей радостью: улетаю по приглашению Зарубежной церкви в Сан-Франциско. Там, оказывается, жил и служил когда-то вместе с Владыкой Иоанном Шанхайским архимандрит о. Афанасий, мой дядя по материнской линии. Вот и получила вызов. Анастасия Ивановна оживилась.*

*Я включила магнитофон:*

...Пришла ко мне моя приятельница Маэль Исаевна Фейнберг — она прошла в «Советском писателе» все три издания моих «Воспоминаний», — с тем, чтобы заставить поправить Маринино столетие. Оно будет девятого октября, а по причуде и по равнодушию и по гордости Мнухина — такой есть и такая есть Саакянц — они объявили, что празднование дня рождения Марины будет накануне — восьмого.

А я в своем протесте написала, что странно праздновать рождение ребенка, который находился еще во чреве матери сутки. Они дали знать об этом числе в ЮНЕСКО. И по всему миру разгласили, что восьмого, а не девятого.

Я написала: «...необходимо ошибившимся...» Но они не хотят это сделать, так и останется. А мои слова, просто остроумные и просто реалистические, что нельзя праздновать рождение человека, которому еще сутки во чреве матери находиться, — они избежат и сделают по-своему, не думая о том, что рождение есть процесс, а не момент. Но даже если и момент, то они ошибаются в этом моменте.

Марина пишет в стихах, что она родилась в день Иоанна Богослова, поэтому они могут мои слова проверить. Я не написала Патриархии, потому что в Патриархии побежит какая-нибудь девчонка, ничего не поймет, ей голову задурят и все. А надо, чтобы они уточнили с Патриархом.

Люди эти хотят повернуть Время назад. Было время, когда разница в календарях была одиннадцать дней, потом стало двенадцать, а когда родилась Марина — тринадцать, а празднование этого Святого не меняется. Как оно отмечалось в на-

чале этого века с разницей в тринадцать дней — так и празднуется. Мы открыли, посмотрели, у нас есть православный календарь девяносто второго года. Оно празднуется как раз через тринадцать дней. А они желают, чтобы разница была в двенадцать, но ведь желать мало!

Это прихоть. И ее из Москвы, где Марина родилась, разнесли по всему миру.

Мать наша хотела — и это известно по многим источникам, — сына. Еще мог родиться сын в это время, а родила она двух дочек. Марина так же, по наследству родила двух дочек, одна выжила, вторая умерла, но обе родились. И только третьим родился мальчик. Уже во втором поколении исполнилась эта мечта. Мур, Георгий...

Они хотят, что дальше будет, наверное, разница четырнадцать дней, хотят повернуть назад и сказать: «Нет, двенадцать дней разница». Поэтому по их мнению, Марина родилась не в день Иоанна Богослова.

Саакянц дуреха и сухарь Мнухин, по их распоряжению эта ошибка пошла по всему миру.

Я не ратую, что я самый близкий человек, еще живой — Марине столетие, а мне будет на днях девяносто восемь, не в этом дело, что я ее ссстра, а дело в Патриархе, чтобы он подтвердил, что день Иоанна Богослова — это теперь девятое октября. Оно есть в календаре, но календарям они могут не верить. Но если бы вы связались с Патриархом, может быть, тогда дали бы знать телеграммой в ЮНЕСКО...

И Марина всегда праздновала в этот день ...Мы вернемся отсюда накануне Марининой даты и я смогу, пока я еще жива, присутствовать. У нас ровно два года и минус двенадцать дней разница в дне рождения.

Это странное положение. Праздник Иоанна Богослова не отменен Патриархией, а они поворачивают историю календаря назад. Сами поставили себя в дурацкое положение.

Первую дочь наша мать родила в том веке в день Иоанна Богослова, а вторую дочь тоже в праздник — Воздвижение Креста Господня. Так что не верить той, которая родила...



«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

— *Кто у вас там живет, в Сан-Франциско, внучка? — Расскажите о ней, ее судьбе...*

— Она не в самом Сан-Франциско, живет она в Берлингаме, это полчаса езды от Сан-Франциско. Моя внучка Маргарита, Рита Мещерская<sup>1</sup>, дочь сына Андрея.

Ей трудно в эмиграции, но там большой успех имеет ее шестнадцатилетняя дочь, красавица, озорница, очень способная моя правнучка.

У Риты умер муж Ростислав Мещерский шесть лет тому назад. И она осталась с дочкой десяти лет.

— *Почему именно в Америке она оказалась?*

— Я учила ее английскому языку, еще в ссылке, когда арестовали моего сына и невестка приехала ко мне с детьми.

С пяти лет занималась с ней английским и мы с ней семь лет подряд говорили только на английском. Она и в Москве водила экскурсии англичан и американцев, владея этим языком.

Она и французским владела, но не так сильно, как английским. Кто-то из ее подопечных пригласил в гости в Америку и она поехала туда после смерти мужа. А там знакомства и она осталась работать.

Но, конечно, воспитывать дочь без отца гораздо труднее, там ее английский язык никому не нужен. Она занята другим, ей тяжело живется, она то делает уборку в Церкви, то дает уроки русского языка. Но зато ее дочь, которая блистательно одарена, продвигается по учению и, вероятно, будет оканчивать школу в Америке, двенадцать классов. Сейчас перешла в десятый...

Вот, что я знаю...

---

<sup>1</sup> «Наша мучительная любовь друг к другу — моя и Риты — и есть настоящая любовь.» А. Ц.

В тот переделкинский вечер Анастасия Ивановна продиктовала мне наизусть калифорнийский телефон внучки — не ошибившись! — и попросила ее найти.

Это послужило началом нашей дружбы с Ритой, длившейся уже двадцать лет! — Т. Ж.

Затем Анастасия Ивановна показывает мне книжку ее «лагерных» стихов, которая буквально несколько дней назад издана, датирована ее днем рождения и тиражом всего в триста экземпляров. Дает мне книжку и ставит на ней свой автограф.

На обложке последней страницы ее послесловие:

*«Это — первый мой маленький сборничек стихов, связанный с годами заключения. Предвестник моего большого сборника, — около ста стихотворений русских и двух поэм плюс семь посвящений на английском языке.*

*Привет читателям!*

*Анастасия Цветаева на девяносто восьмом году.*

*9 сентября 1992 года.*

Спрашиваю о ее фотографии, помещенной на первой странице и датированной одиннадцатым годом. Снято в Коктебеле, в Доме Максимилиана Волошина, в мастерской. За спиной виднеется бюст знаменитой Таиnah. Книжка называется «Тетрадь Ники».

Анастасия Ивановна:

— Мне было шестнадцать лет и художник у меня фотографию выпросил, чтобы сделать из нее портрет. Исчезли и фотография, и портрет, и художник.

И вот она ко мне чудом вернулась в этой книжке, потому что была только одна. Отсюда идет вся жизнь и в конце книги вот эта старческая немецкого фотографа Ганса Сивика. ...Как-то сразу настал последний возраст: годы наслаивались беззвучно.

Рассматриваю сборник, листаю, читаю стихи.

— *Ваш первый поэтический сборник?*

— Ну, что о нем говорить? Так, пустячок...

Вдруг заговорила о самом больном:

— ...Жизнь жестоко разлучила нас. Марина оказалась за границей, отрезанной от меня.

Молчит. И снова обращается ко мне:

— *Задавайте мне вопросы и я буду пространно отвечать.*

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

*— Как вы пришли к Богу, Анастасия Ивановна? Как люди приходят к Богу, каждый, наверное, по-своему?*

— Я начну так. Мне когда-то Марина рассказывала, что когда говорят о Байроне — всегда употребляют такое выражение: «разочарованный Байрон». Это в то время, когда о нем писали, несколько десятилетий тому назад. А кто-то начал лекцию так: «Для того, чтобы разочароваться — надо сначала очароваться. Так давайте же поговорим об очарованном Байроне».

Это я привожу, как аналогию и так отвечаю на ваш вопрос. Вы меня спросили: «Как пришла к религии?». Но вернее спросить, как и ушла от религии и как к ней вернулась.

Дом наш был религиозный, отец и мать были верующие, а предки со стороны отца были священниками. Была даже монахиня в нашем роду, инокиня, было много иеромонахов, так что я происхожу из верующей семьи.

Но потом, когда мы приехали с Мариной, которой было десять лет, а мне восемь, — мы приехали в Италию по болезни матери, — она отказалась ехать без нас, — то там мы встретились с революционерами и анархистами, с людьми, бежавшими с царской каторги, совершенно неверующими, и они быстро нас обратили в свое неверие, потому что детей легко обратить.

Мы этих людей полюбили, они были к нам ласковы, приветливы, добры, культурны, образованы — мы к ним привязались. И когда они нам сказали: «Бога нет. Его выдумали богатые, чтобы поработать бедных», — нам показалось это значительным. Это было для нас новым, потому что дома таких вещей не говорилось у нас, и оттого пленительным. «Ах, вот как!» А вдуматься в наши восемь и десять лет мы не могли.

Мы перестали молиться Богу и зиму провели в Италии с матерью. Бегали по скалам с детьми хозяина гостиницы, жгли костры, радовались такой свободной жизни. И мать, огорчаясь тем, что пропадает целый год нашего учения, что мы не утверждаемся в языках, — она считала, как и я считаю, что языки — одно из главных, чему надо учить детей, — она на следующий год, так как ей было велено остаться в Италии еще на год, — отправила нас с родственницей в Лозанну, во фран-

цузскую Швейцарию, в пансион, чтобы мы там жили, кормились, имели подруг, надзор и учились французскому языку, утверждались в нем.

И вот, когда мы приехали туда пропагандистами нового для нас учения: «Бога нет!», то хозяйка этого пансиона иеромонахиня и подобные ей верующие старушки и старшие ученицы испугались нас, детей, сказали, что это мы привезли из России революцию и пошли говорить со своими начальницами. А те в свою очередь стали говорить с аббатами своими, с католиками.

И аббат вызвал Марину, потому что она одиннадцати лет производила впечатление четырнадцатилетней, а я в девять могла казаться семилетней. А я присутствовала, все слышала и понимала.

Он ей сказал: «Ты подумай, если бы не было Бога, то откуда бы у человека была бы совесть? Люди, отвергающие Бога, боятся только властей, занимаются разбоем, знают, что если их не поймали, то хорошо, надо только уклониться от ответственности.

А на самом деле жизнь построена совершенно иначе. Человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому в каждом человеке есть совесть. Даже в разбойнике она есть, только он ее заглушает своими неподобными поступками.

Вот пример. Двухлетняя девочка сидит за столом, она еще не умеет думать ни о чем, ее еще ничему не учили. Но вот ей дали конфету. Она ее съела, ей понравилась, но ей вторую не дают. Она тянет руку к конфете, лежащей на столе, но почему-то оттягивает ее назад. Да потому, что у нее уже в два года есть сознание, что конфета не ее. Ей хочется, но что-то ее удерживает. В этот миг весь загробный мир ангельский замирает и все ждут, так как Бог пускает душу в мир, дает ей, как самый главный подарок — свободу воли.

Бог никого не насилует Добром, он ставит каждую душу на испытание, которое длится всю жизнь между Добром и Злом. Что человек выберет — за то он и ответит. И если девочка эту конфету возьмет и съест — все ангелы плачут; если она отбросит конфету, потому она не ее — все ангелы ликуют».

Вот таким простым примером он объяснил нам закон ответственности, опроверг то учение, которое мы от революцио-

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

неров в Италии так легко приняли, что «Бога выдумали богатые, чтобы поработать бедных».

Это совсем неубедительно, но дети не умеют мыслить, а только чувствовать. И когда этот аббат обратился к чувствам и показал, как много зависит от каждой из нас заставить ангелов плакать или ликовать, — мы поняли, как серьезен каждый наш поступок.

Учил таким образом нас пониманию Добра и Зла, чему нас будет в дальнейшем учить вся жизнь. Мы будем отвечать за злые поступки и будем тут или в бессмертном мире вознаграждены за добрые.

Вот так коротко говоря о том, как я пришла к религии, или мы с Мариной вернулись к религии после испытания революционеров, нам поданным — религию отвергнуть.

Поняли, что многое зависит от каждого из нас и много с нас спросится — за Добро награждением, за Зло — наказанием. И кроме того, совесть каждого человека играет эту роль награждения или наказания. Когда сделаешь что-то дурное — тебя грызет совесть, которая тебе дана Богом. Когда ты сделаешь что-то хорошее — тебе радостно, потому что чувствуешь, что поступил правильно и кого-то, чем-то одарил, кому-то помог.

Мы в этом пансионе сделались самыми пламенными молеельщицами. Когда все, совершив вечернюю молитву, спали, мы — мать попросила, чтобы нам дали отдельную комнатку для того, чтобы мы между собой разговаривали по-русски, не забывали русского языка, а целый день мы общались на французском, — и вот мы, стоя двумя столбиками на ковриках, каждая у своей кровати, в ночной рубашке, долго молились, прося прощения за то, что отвергли Бога и просили прощения тем друзьям нашим, которые остались в Италии. Мы их звали «кошечка», «кот-мурлыка» и так далее и которых любили, но поняли, что они стоят на неверном пути.

*— Говорят, что человек рождается не один раз. Как вы относитесь к этой теории?*

— Это я категорически отвергаю. Вот это повторное существование — идея сатанинская. Достаточно одного существования человеку, чтобы он был за него ответственен.

И почему бы тогда Христос в тридцать три года взмошел на Крест, если бы не торопился в этой жизни сделать то, что Ему задано? Именно в этой, единственной жизни.

А ведь так получается, если ты будешь жить много раз, то куда тебе торопится? Ты все когда-то искупишь. Сейчас ты ошибься — потом поправишь. Немецкая пословица: «Завтра, завтра, не сегодня...» — так и здесь.

Это сатанинская теория, искусительная. Ты, скажем, когда-то был червяком, после червяка стал бабочкой, после бабочки — пчелой... и мало-помалу идет твой «прогресс». Тут речь о человеке, и наконец, стал человеком.

А потом прогресс — это лживое слово, прогресса нет и весь прогресс в том, чтобы человек над собой работал, и тогда он будет прогрессировать в Добре. А если он не будет над своими страстями работать, то он будет регрессировать.

Поэтому эта теория о том, что человек живет много раз — есть теория безответственная и теория, конечно, не без сатанинской подкладки.

*— А вот биотоки, предчувствия, как вы к ним относитесь? Как можно угадать судьбу человека? Ведь вы тоже в свое время предугадали судьбу Марины...*

— Это все реально совершенно. Человек состоит из тела, но он состоит и из психических способностей. У одних они большие, у других меньше. Есть люди одаренные и талантливые. Вот все это разнообразие и составляет картину человечества. Но каждому что-то дано и каждый идет или вперед или назад от той точки, на которой стоит.

Какие-то психические способности даны каждому, а те, которые богаты ими — имеют возможность предсказывать, предчувствовать.

Вот простой пример, но это совсем не показывает меня в каком-то особенном свете. Вот вы видели Доброславу, кото-

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

рая была здесь. Она была в отъезде, а сегодня утром я говорю своей подруге: «Я активно чувствую скорый приезд Добро-славы». И она через час приходит. Значит, между ею и мной что-то протянулось, я это почувствовала.

Это то, что называется биотоками. Вы помните, что биотоки могут быть не только в Добре, но и в Зле, можно и лечить биотоками. Мне сегодня утром, за завтраком рассказали, что была в какой-то газете статья о том, что животные лечат людей, а не только себя травами, собаки или кошки. И они понимают, когда человеку плохо.

*— Значит, есть природная связь во всем? А деревья, как Вы думаете, они чувствуют ?*

— Мне рассказывали: однажды негде было переночевать какой-то женщине. И попросила устроить ее у знакомых. Среди ночи она с криком выбежала из этой комнаты и ее сочли сумасшедшей. Повели к психиатру и он спросил: «Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда убежали из этой комнаты?» Она сказала, что почувствовала безотчетный ужас.

Оказалось, что в этой комнате перед окном были растения, а раньше покончила здесь собой женщина, кем-то оставленная, обиженная, она пережила этот ужас страха смерти, брошенности и обиды и не нашла другого выхода.

...Деревья тоже имеют тонкие биологические состояния и чувства. Этот ужас, когда она решалась расстаться, с жизнью, в них затаился.

Другой случай. Психиатр просил несколько людей войти в комнату, где было большое дерево с ветками в кадке и сказал: «Пусть каждый войдет, а кто-то из вас отломает ветку. А затем всех прошу вернуться в эту комнату».

Дерево оставалось спокойным, когда входили люди, которые его не трогали, а когда вошел тот, кто сломал ветку — оно затрепетало.

*— Говорят, что мы будем держать перед Господом Богом ответ и за хорошие и за дурные поступки...*

— Я верю в идею Страшного Суда. Верю, что каждый человек будет стоять и отчитываться за свою жизнь, за все свои поступки.

Это в меньшей мере чувствуют животные и растения. Животные тоже сильно страдают физически, как человек, но психически они страдают меньше, но тоже страдают. И чувство привязанности есть у животных, не только собаки к хозяину, которая будет бежать за поездом, увезшего его, покуда не ляжет и не погибнет.

*— Что такое любовь? Вы прожили большую жизнь, сколько раз вам пришлось пережить любовь? Говорят, это чувство космическое. Это дано нам свыше или дело случая?*

— Это чувство — основная закваска, на которой замешана человеческая психика.

Рождается ребенок, он страстно любит все свое детство свою мать. Потом появляются другие привязанности: женская к мужчине, мужская привязанность к женщине и так далее. Есть много разветвлений этого чувства, но оно — основное чувство жизни. Без чувства любви не было бы жизни, потому что только через Любовь появляется на свете жизнь. И дана она, конечно, как вы правильно сказали — Свыше.

А когда человек извращает любовь эту, когда вмешиваются темные силы, то простой акт соединения мужчины и женщины ради продолжения человеческого рода, влечение, которое само по себе чисто, превращается в разврат и грех.

*— Но говорят, что одним Бог дает это чувство, а другим нет. И, действительно, что оно не имеет ни возраста, ни зрения, ни слуха?*

— Мне кажется, что каждый человек кого-то любил в жизни, потому что это самое сильное чувство и оно дано ему от природы. Он может любить ошибочно, не того. Вот рассказали нам сегодня случай, когда человек женился на женщине по жалости. Это неправильно, по жалости можно помогать чело-



«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

веку, а увлечься, жениться и создавать семью нельзя по «жалости», нужно по влечению.

*— Говорят, что любовь — это боль. Кого Вы любили в жизни? Я имею ввиду женскую любовь. Кто у Вас остался в сердце? Вы можете не отвечать на этот вопрос.*

— Я любила многих людей и сейчас люблю. В юности — дружески, в годы зрелости, как женщина мужчину, светлая любовь к детям, а в старости — любовь ко всем, к каждому человеку в равной мере, потому что в такую слепую любовь, которая не умеет совсем размышлять, я не верю.

Мать всегда будет огорчена дурным поступком сына, но она его любит. Значит, любовь не слепа, любовь зрячая до какой-то степени. Иногда ошибается любовь и зрячая, это тогда, когда любовь слепая отнимает зрение у человека, тогда начинаются обиды, обвинения, ссоры и так далее.

*— Вы когда-то говорили и писали, что сын Цветаевой Мур сыграл определенную роль в кончине матери. Он был виновен в ее гибели?*

— Активное вины не было, а пассивная, конечно, была. Потому, что когда их привезли в Елабугу, — а ему было шестнадцать лет и он пылал страстями, а мыслить не умел — он отказался там учиться, хотел продолжать учиться в большом городе. И он сказал матери: «Я учиться в этой дыре не буду. Ты часто говоришь о том, что ты будешь жива, пока ты нужна»...

У нее стихи есть: «Надобы во мне...»

«Так вот, — продолжал он, — я тебе скажу, что кого-то из нас отсюда вперед ногами вынесут».

Это я цитирую его слова, которые он потом повторял после смерти матери своей тетке по отцу. Он бросил ей угрозу, что не хочет жить в этой дыре и учиться девятый и десятый класс, и что он покончит с собой, его, отсюда, из этой дыры вынесут вперед ногами. А так как он сказал «кого-то из нас», то, может быть, это сыграло какую-то роль.

Если «кого-то из нас», — пусть лучше я, а ты, молодое дерево — цветы. Обычная жертвенность матери. Может быть, и так... Я утверждать не могу, но...

*— В Вашей трудной и долгой жизни какие минуты Вы могли бы назвать счастливыми по-настоящему? Минуты счастья...*

— Я не скажу, что детство все счастливое. В детстве есть и зло, и ошибки, и наказание, и раскаянье — все. Но счастливые дни я помню — это Рождество, рождественская елка, рождественский вечер. Или Пасха, пасхальная ночь, звон колоколов, кулич, яйца на столе — старшие пришли из Кремля, куда нас, младших не брали, потому что слишком большая толпа.

Но мы не спали, ждали их, слышали, как первый удар с колокольни Ивана Великого в Кремле раздавался, после чего начинали голосить все церкви Москвы таким несказанным оркестром.

Все это было очень торжественно. Это была счастливая пасхальная ночь.

*— А позднее, какие минуты счастья вы испытали, даже в трудные годы скитаний? Жизнь ведь многообразна — и среди трудных лет были, наверное, минуты радости...*

— Конечно. После расставания — встречи с близкими. Затем — любовь. Полюбить человека, узнать, что и он тебя любит — это тоже счастливые дни, когда люди осознают, что любят друг друга.

*— Вы это пережили, Анастасия Ивановна?*

— Конечно, я думаю, что это переживает каждый в жизни. И переживает не единожды.

*— Анастасия Ивановна, вы рассказали мне об «астрономическом» романе, который написали. У Вас в жизни было что-то связано с астрологией или астрономией? Вас интересовали эти науки?*

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

— Очень интересовала астрономия и я дружила с астрономом. А у романа «Созвездие Скорпиона», созвездие которое видно только в Южном полушарии, интересная фабула была.

Но, к сожалению, роман при аресте пропал. И многое другое пропало, например, мои переводы с разных языков, два тома сказок... Что делать? Тогда просто забирали все. И не возвращали.

— *Меня потрясло, что когда Вы узнали или вам пришло письмо, что Марины нет, Вы всю ночь не спали и написали за одну ночь ее портрет, а потом художник свидетельствовал, что...*

— Это было не так. У меня были способности к живописи, к рисунку, я попросила прислать мне ее фотографии, увеличивала их и сидела над этим много вечеров...

— *В «Тетради Ники» Вы упоминаете Иркутск, мой родной город и Колю Миронова. Что это была за встреча в Вашей жизни?*

— Это моя личная жизнь и я не хотела бы говорить. В стихах достаточно сказано для всех: «Миронов — юности моей девятый вал»...

— *Байкал видели?*

— Видела. Но я в Иркутске не жила, только его проезжала.

— *Каким запомнился Байкал?*

— Очень величественным.

— *С тех пор Вам не пришлось быть там?*

— Слава Богу, нет. Еще приходилось мне ездить, когда сын в северном Казахстане жил, тоже через сибирские города проезжать...

— *Вы довольны сыном?*

— Его судьба сложилась. По отношению к себе — да. Но я не слепа, когда он ошибался, совершал дурные поступки, покуда он был в моих руках, конечно, огорчало.

*— И еще один вопрос Анастасия Ивановна, как вы думаете, что будет с Россией?*

— На этот вопрос я не отвечаю, это касается политики, в политике я мало разбираюсь, я верю в помощь Божьей матери, верю в помощь Божью и совершенно не понимаю Юлию Друнину, которая написала перед смертью: «Я потому выбираю смерть, что Россия летит под откос».

Я лично совсем не верю, что Россия летит под откос, а если бы я на ее месте верила в это, то я никогда не дала бы себе права бросить Россию в такую минуту. А ты, русская, значит и лети вместе с нею. Бездна надежных вещей на свете мало.

Не считаю, что это самое трудное время. Думаю, что все справится, имею полную надежду, что все с Россией будет хорошо.

В стране возрождается религиозная культура. Это важнее, чем временные недостатки. Церкви полны, детей крестят и дети с радостью ходят в церковь от самых маленьких, что важно. Голода нет, в двадцатом году мы питались даже не картошкой, а сушеной картошкой без хлеба, без единой крошки хлеба. Семь месяцев так прожили с сыном, которому было десять лет — не умерли.

Верю в Бога, поэтому зачем мне паниковать? Это только неверующим может быть страшно.

Я вообще оптимист, а не пессимист. А как человек верующий — я все отдаю в Божьи руки.

*— Чтобы Вы хотели сказать и близким и далеким людям, может быть, сыну своему, может быть, внучке, посыл какой-то...*

— Молодым людям я бы желала, чтобы они не так много развлекались, а пополняли свое образование — учились больше. А то у нас — после часов работы начинаются часы развлечений. Развлечения — это есть отвлечение от главного. А глав-

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

ное у человека, куда он может — это получать более широкое образование. Изучать языки, и не одну науку, а близлежащую — тогда у него кругозор ширится.

Больше трудиться. Это первое.

Во-вторых, я бы всем советовала от всей души — так или иначе каждый идет своим путем, — прийти к религии, потому что религия гораздо важнее науки, религия связывает нас с Вечностью, а наука остается здесь, она на том свете не нужна. Наука нам помогает и то не всегда устраивать жизнь здесь, на земле.

Например, Мария Кюри, когда она открыла уран — только вред людям принесла. Есть такие изобретения, которые идут на изготовление атомной бомбы, на уничтожение одного народа другим.

Так что наука — есть вещь весьма сомнительная, хрупкая. Кое-где она хороша, а кое-где и вредна, потому что ее результаты... создали атомную бомбу, что хорошего в этом? Лучше бы не было той науки, которая к этому привела.

А религия нас связывает с Вечностью. А человек — хочет он этого или не хочет, а создан из вечного вещества. Тело умрет здесь, а Дух вечен. Душа каждого человека будет отвечать в том мире за то, кому на этой земле он служил — Добру или Злу? Как часто он искушался Злом.

Человек будет отвечать за каждый свой поступок, потому что в каждом человеке есть образ и подобие Божие. И можно противостоять всем искушениям, всему тому, что приводит в наши дни к усилению преступности. И это все от того, что много лет мы жили без Бога, без церквей, без религии. Все изгонялось, уничтожалось и выросло даже не одно, а два-три поколения, которые живут только для себя. И убить, к примеру, человека ничего не стоит.

Помню слова одного заключенного. Я тогда была заключенной на Дальнем Востоке: без всякой вины и без суда — десять лет в лагере. «Ты, знаешь, мать — сказал он мне, — только первого человека убить страшно, а потом льешь кровь, как воду».

Ради вещей убивают людей, ради продуктов могут убить человека, ударив по голове. Мы в нашей стране боимся вече-

ром ходить. Если у меня бывают женщины, то я всегда стараюсь, чтобы они ушли до темноты и не поодиночке, а с женщиной, потому что наш собственный соотечественник может позариться на твою сумочку и убить тебя. А потом и сумочку выбросить — вот, что страшно. Но так бывает.

Самое главное — я желаю людям веры в Бога, служения Добру и борьбу со Злом в себе и вокруг себя.

— *Спасибо за все и простите нас...*

— Храни вас Бог.

— Мы будем вам благодарны с Евгенией Филипповной, если Вы нам почитаете Библию, потому что нам читает кто-нибудь, а сами не можем.

(Читаю им вслух Библию.)

### **Октябрь. Седьмое**

В тот день я приехала в Переделкино и подошла к комнате на первом этаже Дома творчества. Дверь была открыта, горела лампа «юпитер». Анастасия Ивановна сидела на диване и читала стихи Марины:

*Как много их упало в эту бездну  
разверстную вдали.  
Наступит день, когда и я исчезну  
с поверхности земли...*

Потом обратилась ко мне:

— Когда закончат запись, я скажу вам два слова, как странно у меня получилось с моими стихами...

...До сорока лет я писала только прозу. В сорок лет, увлекшись английским языком, начала писать стихи на английском. Год писала по-английски, потом перешла на русский язык и семь лет писала по-русски.

Затем, когда была в сталинском лагере и от меня два года скрывали смерть Марины — в сорок первом году она погибла,

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

а я узнала только в сорок третьем, — то тогда кончились все ритмы, все рифмы и ровно тридцать один год я не написала ни одной стихотворной строчки — для меня это был такой шок...

А через много лет, в семьдесят четвертом году, лежа в Коктебеле на берегу моря, возле Дома Максимилиана Волошина — его уже на свете не было, но была жива его вдова, Мария Степановна и мы с ней дружили — вспоминала, как мы были счастливы на этом берегу с Мариной, с нашими жепихами, ее мужем Сергеем Эфроном и моим первым мужем Борисом Трухачевым, — мы ведь одновременно вышли замуж и наши дети появились на свет в одно и то же время, с разницей в три недели...

Так вот, вспоминая молодость, написала последнее стихотворение «Мне восемьдесят лет». Могу прочитать его и еще два стихотворения, на которых я, вероятно, спотыкаться не буду.

«Натюрморт»:

*Натура мёртвая —  
Какое странное названье дано тому,  
Что будет жить.  
Лишь ждут художника века и страны  
И вечность тянет огненную нить.*

*Ещё иному я всегда дивилась:  
Унынию в торжественнейший час,  
Когда являет людям Божья Милость,  
Хор вечной памятью обожествляет нас.*

*Свети же Вечности, моя натура,  
Щепотка пепла, горсточка песка.  
Преображенная так от берегов Амура  
Стихов возносится моя тоска.*

Это написано в заключении тогда.

(Читает стихотворение «Дама Пик» и «Мне восемьдесят лет».)

— А сборник состоит из тех стихотворений, которые вы написали в ссылке?

— Нет, сначала я писала на воле, потом тюремные стихи, они в романе «AMOR» есть, потом лагерные...

— *Вы часто предчувствовали, как бы внимали снам?*

— Особых состояний у меня таких не было, но непонятным образом в моей второй книге, когда мне было двадцать два года, а Марине было двадцать четыре, она всегда физически здоровей меня была, то я написала: «Маринина смерть будет самым жгучим горем моей жизни, если Марина умрет раньше меня». Откуда это — не понятно.

А в одном из пропавших моих романов героини, две сестры, я изображала себя и Марину, — роман пропал при аресте, пропал безвозвратно целый сундучок рукописей, один, кстати об астрономии, я с астрономом работала, — так вот, в один из этих романов, — я переселила, — роман был как бы предверием моей книги «Воспоминания», — я переселила всю нашу семью в старую Германию. Папа там был палеонтолог. Он не изящные искусства преподавал, а преподавал палеонтологию. Мама была фрау Марией, Марина была Беата, а я Эрика. И вот эти девочки выросли, и в этом романе Эрика тоже пережила Беату.

Там получилось так. Когда началась война — Англия была против Германии. Беата была из немецкой семьи, а ее жених, — я изобразила в нем Сергея Эфрона, точно предчувствовала, что их тоже разъединят, — был англичанин. Беата поступает на курсы медицинских сестер и идет на войну, но не встречается с ним, а погибает на войне. А Эрика продолжает жить. Какие-то предчувствия были...

— *Анастасия Ивановна, этим летом Вы летали в Голландию. Зачем и как это было?*

— Меня туда вызвали на книжную ярмарку женщин-писательниц. Эта ярмарка проходила пять дней в конце июня.

Давно не летала, лететь надо было три с половиной часа и я не знаю, как бы я вынесла это в моем состоянии сейчас, но у



«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

меня есть друг, врач, о котором мой рассказ «Зимний старческий Коктебель». Он со мной поехал в Коктебель, когда понадобилось меня снимать зимой в мастерской у Максимилиана Волошина, с которым я и Марина дружили..

— *Это было недавно?*

— Да, года четыре назад, наверное, время быстро летит. И я поехала с ним. И вот в это раз он тоже взял короткий отпуск и мы вместе полетели туда. Фамилия его Гурфинкель Юрий Ильич. Следил за моим здоровьем, и провели мы там шестнадцать дней.

И недавно мы с ним вместе прочитали заново мои «Записки» и скоро они будут напечатаны, пока не знаю, где скорее напечатают, может быть, в Голландии. Там мне подарили в переводе на голландский язык сборник стихов моей сестры Марины и я познакомилась с двумя голландками-переводчицами.

Имя Марины известно и мне подарили совершенно непонятный для меня сборник ее стихов там, в Голландии, довольно толстая книга, а я голландского языка не знаю. Но они ее перевели. И просили, как только появятся «Записки» в журнале, чтобы мы им туда переслали..

— *А о чем эти «Записки» по Голландии?*

— О том, как мы жили там две недели, кого видели, где жили. Наши впечатления. Голландия— сказочная страна. Там, например, дома не белые, как у нас, а точнее грязные, серые все, а цветные, как в сказках или как дети рисуют — красные, синие, зеленые или как в детских книжках. Едешь по улице среди таких домов...

— *А еще были встречи?*

— Меня знакомили как раз с переводчицами Марины. Жили у двух из них несколько дней, а потом пригласили их друзья. Так что не только в Амстердаме побывали, но и в маленьких городках вокруг.

— *Какие еще впечатления?*

— Повторяю, сказочная страна. Люди приветливые, любят свою родину, очень веселые, вечерами они на яхтах, на лодках, на маленьких парходиках катаются, есть у них большая река Амстердам. Кроме того, как в Венеции каналы — три больших канала и один маленький. Так что город как бы на воде, такое производит впечатление. И вот всюду, с этой воды раздаются веселые песни...

— *Наверное, это тяжело так путешествовать во времени? Вот Вы сейчас возвращаетесь в те стихи, это трудно вспомнить?*

— То, что ты знаешь — то знаешь. Вспоминать трудно, что забыла. Это может повторить моя подруга Евгения Филипповна Кунина, которая пишет сама стихи и книжка которой уже давно лежит в «Советском писателе», ее должны были выпустить в прошлом году, но увы!

Я хотела бы в Голландии издать свой сборник — около ста стихотворений русских и около десятка стихотворений английских. Английский там знают все и русский знают, потому что там много русских. Для чего бы я это хотела? Чтобы мне заплатили долларами и я могла немножко помочь Рите.

— *Анастасия Ивановна, а вот из стихов, что Вы предлагаете в ту книгу, может быть, что-нибудь помните?*

— То, что помню, я уже прочитала.

— *А то, что Вы читали в Голландии на английском языке?*

— Вот это я могу. Пробовала переводить на русский поэму Джозефа Конрада и начало я помню, как звучит по-русски. Это для того, чтобы вы знали, о чем она.

Джозеф Конрад был польским матросом, а стал знаменитым английским писателем. Вот так звучит начало по-русски:

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

*Приплыл из Польши раз матрос  
К английским берегам.  
И говорят, как в землю врос,  
Навек остался там.  
Сменивши мачту на тетрадь,  
Писателем он стал...*

А потом речь по-английски о его романе «Тайфун», о дикой буре на море, которая называется «тайфун» и о том, как не сдавался в самый опасный момент, этот капитан.

Там есть такие строки, что он будет бороться до последних сил, но смирит океан — Великий и Тихий. Об этом идет речь и об этом написал Джозеф Конрад.

(Читает стихотворение по-английский.)

— *Как реагировали в Голландии, когда Вы прочитали?*

— Зал встал и хлопал стоя. Там английский язык в ходу и поэтому они все поняли.

— *Анастасия Ивановна, а кто из поэтов Вам ближе всего? Кого, образно говоря, Вы носите в своей душе?*

— Из прежних поэтов Лермонтова и Тютчева. И Марину...

— *А в каких странах мира Вы побывали за всю жизнь?*

— В Италии, Швейцарии, во Франции, в разных местах Германии. В Англии не была, в Америке не была. И еще в Австрии была.

— *Какие самые дорогие места остались в сердце?*

— Гснуня в Италии и рядом с ней маленькое местечко Нарви над самым морем. Сад, который сходил скалами на море. Там лечили нашу мать от туберкулеза, поэтому мы и оказались в Италии.

Потом Лозанна, куда она нас отправила, чтобы мы не теряли время учиться. И на последующий год, когда ей врачи велели быть еще в Италии, она оставила нас с родственницей в интернате в Лозанне, чтобы мы не забывали французский язык, который знали с детства. Нам было уже тогда девять и одиннадцать лет.

— *А Вена с чем у Вас связана?*

— В Вене мы останавливались по пути за границу. Через Варшаву ехали, красивый город, интересный язык польский, похожий на щебет птиц. Наша бабушка была полькой, может быть, поэтому такое кровное чувство к Польше. Наша бабушка, мать матери дала ей жизнь и умерла во время родов двадцати семи лет. Была очень красива, но от нее сохранился только портрет. Мы ничего про нее не знаем.

— *Как ее звали?*

— Ее звали Марией. И дочь свою она назвала Марией. Но тут же умерла.

— *Еще какие воспоминания?*

— Швейцария... Лозанна—это французская Швейцария. Швейцария бывает немецкая и французская. Интернат был хороший, все были к нам ласковы. А потом попали в немецкий интернат, чтобы не забывать Германию, немецкий язык. Вот там был совсем другой интернат: строгий, холодный, жесткий. О нем сохранились плохие воспоминания.

— *Значит, Голландия для вас открылась впервые?*

— Да, как-то совсем неожиданно появилась.

— *Вы рады, что побывали там?*

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

— Конечно. Это было совсем нетрудно, всего три с половиной часа полета. Полет не чувствовала совсем. Впечатлений было много. И именно оттого, что их было много, они нахлынули и перепутались в моей памяти, поэтому вот сейчас мы работаем с другом и подружкой моей младшей, которая печатает их. И когда все будет готово — отдадим в журнал.

Неожиданное было такое переживание. Неожиданное и радостное.

— *Вы давно не были за границей?*

— Давно.

— *А последний раз Вы когда были там?*

— Меня в тридцать седьмом году арестовали. Последний раз я виделась с Мариной и была за границей в Италии и во Франции в двадцать седьмом году. Это по приглашению Горького я оказалась в Италии.

А оттуда Марина, которая была в Париже, прислала мне визу и я поехала с ней повидаться. Вот это была наша последняя встреча...

— *Какую роль в Вашей жизни сыграл Горький?*

— Очень хороший старший друг. Поняла тогда, что он гораздо интереснее, сложнее, душевнее, чем о нем писали.

— *Вы вспоминаете его добром?*

— Да.

— *Он Вам помог в чем-то?*

— Мне никакой помощи не надо было. Я жила, работала в музее, к нему поехала в свой отпуск в Сорренто.

— *А когда Вы вернулись окончательно в Россию?*

— Отпуск прошел и вернулась.

— *И после этого все?*

— Да, затем десять лет в сталинском лагере на Дальнем Востоке, потом полтора года у сына, и только началась налаживаться жизнь — опять арестовали и повезли на вечную ссылку в Сибирь.

— *Это в каком году было?*

— В сорок девятом.

— *А какие обвинения Вам предъявляли?*

— А они никаких не предъявляли. Я говорила: «Предъявите мне обвинения и тогда я могу защищаться». — А они отвечали: «Мы вас не обвиняем — мы вас подозреваем».

Тогда я спрашивала: «В чем вы меня подозреваете?» — «Вот вы были за границей», — это в тридцать седьмом году мне говорили, десять лет спустя, как я вернулась. — «Ну и что?» — «И вы вернулись». — «Так что же это плохо?» — «Нет, не плохо, но, может быть вам дали какое-нибудь задание там.» — «А вы-то на что? Десять лет прошло и вы тогда должны предъявить обвинение, твердо знать, какое задание мне дали. Кому я привезла какое письмо, кому какой пакет передала, где что сказала. Давайте обвиняйте». — «А мы вас и не обвиняем».

Вот так.

И тем не менее безо всякого суда отправили на десять лет в лагерь на Дальний Восток.

— *Анастасия Ивановна, говорят, архивы Марины закрыты и сотрудники КГБ были у Вас перед пущем?*

«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

— Но ее не арестовывали, поэтому я не знаю, какие могут быть там архивы, я не знаю архивы ее.

— *А что, действительно, перед смертью у нее были в Елабуге агенты КГБ или это неизвестно?*

— Говорят, что так. Последние слова ее были в предсмертном письме: «я попала в тупик». Может быть, они ей грозили, что возьмут сына, которому шел семнадцатый год и которого она обожала. Наверное, предлагали сотрудничество, а она не могла. Многие объясняют так.

— *А когда Вы вернулись окончательно из Сибири — закончили Ваши скитания?*

— Из Сибири я вернулась в пятьдесят шестом году. Семь лет пробыла там. Об этом есть книга «Моя Сибирь».

— *Я знаю, Вы мне ее дарили. А как Вы жили после лагеря?*

— А я жила у сына, он все время работал инженером в Казахстане, в городе Павлодаре. Сейчас ему восемьдесят лет и он давно уже на пенсии. У него огородный участок и они там с женой что могут — выращивают.

— *Вы живете одна?*

— Живу одна. У них квартира далеко от меня. Я живу в центре, на Большой Спасской и поэтому меня посещают друзья. И все.

— *А кто Вам готовит, Анастасия Ивановна?*

— Сама. Продукты мне приносят друзья или сын, многое из того, что растет у него в огороде. Невестка у меня хорошая, на детей я не обижаюсь и друзей много. Если приболею — они приходят.

Интеллектуальный человек не теряет интереса к жизни, но желание покоя приходит именно в старости.

...В Голландии мне друзья подарили прекрасное пальто. Одна из переводчиц Марины. Я теперь буду сниматься в нем. Вот оно тут висит.

...Показывает мне книгу.

— ..Замечательное предисловие. Какая-то Поликовская. Она мне принесла, подписала, подарила и прочла это предисловие. Потом она ко мне зашла и я сказала: «Это не предисловие, а целая самостоятельная о Марине работа. И глубокая. Прекрасная».

Очень советую вам прочитать. По-моему, это лучшее, что написано о Марине — предисловие Поликовской к книге «Марина Цветаева. За всех — противу всех!»<sup>1</sup>

(Речь зашла о Мандельштаме.)

— А мы с Мандельштамом очень дружили — и Марина и я. Прекрасный человек, прекрасный поэт. Трагическая судьба.

Его вдова Надежда Яковлевна говорила, что Осип был хрупкого здоровья, вынес только восемь месяцев в лагере и умер.

Показывает свою книжечку стихов «Тетрадь Ники».

— Это фотография в Коктебеле в мастерской Макса Волошина. Потом мы с Мариной, очень хорошая фотография.

— *Здесь Вы удивительно похожи...*

---

<sup>1</sup> Издательство «Высшая школа». 1992 год, 384 стр.

Предисловие к книге называется «...Всё — сердце и судьба». Оно начинается так: «Как часто имя великого писателя окружено легендой. Существует легенда и о Марине Цветаевой...»

Кстати, почти тезка автора предисловия Политковская Анна, имя которой сегодня знает весь мир, впервые в Советском Союзе защитила в МГУ на факультете журналистики дипломную работу о Марине Цветаевой. По воспоминаниям ее соратников и друзей, она была влюблена в Поэта. — *Ред.*



«ЗОВУТ ЕЁ АСЯ. НО ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ...»

— Отсюда и до сюда — вся жизнь...

— *А кто дал название книги?*

— Я не давала. Вообще не знала про эту книгу.

— *А откуда в издательстве стихи оказались?*

— Не знаю. Мне постоянно посылают, иногда маленькие суммы денег за откуда-то добытые мои рассказы, напечатанные где-то...

— *Вы не составляли сборник?*

— Нет. Но я вам скажу — они имели законное право в перепечатке. Три стихотворения из одного альманаха и потом то, что было напечатано в журнале «Москва» в четырех номерах из романа «AMOR». Затем роман вышел отдельной книгой, но мне об этом не сообщили, ни секретарю моему — все говорили, что да, собираемся, но у нас нет бумаги.

А однажды я сидела у себя на террасе, это было в Эстонии, откуда она не отделилась, и вот ко мне подходит человек и протягивает книгу с моим романом. Я спрашиваю: «Откуда у вас эта книга?» — «Мы ее купили, подпишите нам». Я подписала.

В тот же день отправила заведующему издательством телеграмму: «Сохраните для меня сто экземпляров. Деньги высылаю.» И не получила ни ответа, ни одного экземпляра. А имею только то небольшое количество, которое кто-то где-то покупал, мне приносил, я расплачивалась.

Вот как у нас относятся к авторам. Это было недавно.

А остальные стихи они взяли из моего романа. А роман этот был написан в лагере, чудом уцелел, через вольнонаемных передавался в Москву. Через десять лет я его получила отдельными тетрадками, но нельзя было печатать еще сорок лет. И роман этот вышел через пятьдесят лет. И стихи оттуда.

...Марина написала мне посвященное стихотворение в девятьсот восьмом году. Называется оно «Асе». (Читает):

*Взгляните внимательней,  
если возможно.*

*Нежнее, если возможно.*

*Подольше с неё  
не сводите очей,  
она перед вами дитя  
с ожерельем на шее  
и локонами до плечей.*

*В ней всё, что вы любите,  
всё, что летя вокруг света  
вы уже не догоните,  
как поезда ни быстры —  
во мне говорит  
не влюблённость поэта,  
не гордость сестры.*

*Зовут ее Ася.*

*Но лучшее имя ей — Пламя,  
которого не было, нет  
и не будет вовеки ни в ком.*

*Но помните лишь,  
что она не на век перед вами,  
что все мы  
умрём.*

*Беседу вела **Татьяна Жилкина.**  
Переделкино. Осень. 1992 год...*

Марина Цветаева

## Сказка матери

*Рассказ Марины Цветаевой, «Сказка Матери» был написан в Париже в тысяча девятьсот тридцать четвертом году и напечатан в «Последних Новостях». Автор в письме к Вере Николаевне Буниной назвала его «пустячком».*

*Текст опубликован по полной версии белого автографа<sup>1</sup>.*

— Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю<sup>2</sup>? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь, — с победоносным взглядом на меня, — если Мусю.

Все, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное я, отлично знали — кого, и она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

— Кого больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? — с явным замешательством и явно оттягивая, мать. — Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

— Да, — неуверенно и разочарованно Ася<sup>3</sup>, проглотив уже мой победоносный взгляд. — А все-таки — кого? Ну, хоть чуточку, капельку, крошечку, точечку — больше?

---

<sup>1</sup> Сайт «Наследие Цветаевой».

<sup>2</sup> Так звали Марину Цветаеву в детстве.

<sup>3</sup> Напомним, что Марина родилась в Москве 9 октября 1892 года, а сестра, Анастасия, 27 сентября 1894 года.

— Жила-была мать, у нее были две дочки...

— Муся и я! — быстро перебила Ася. — Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

— Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях, например, — две дочери, старшая и младшая.

— А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, — возбужденно продолжала Ася, — а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

— Да, — подтвердила мать.

— А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было три лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая — в это время так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку.

Вот раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добра! — ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) сразу влезла и лошади поехали.

Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенные — и вдруг узнала, что это ее старшая старая сестра и разом выкинула ее из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!

— Да, — снова подтвердила мать. — Отца у них не было, только мать.

— А отец умер от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбир, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со

щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

— Причем Захарьин, — внезапно очнулась мать, — это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

— А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня страшно ущипнула!

— Врешь! — от негодования и изумления прохрипела я. — Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала мой карандаш, с «Муся» чернилом.

— Ма-ама! — заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меня рейс. — А когда человек сказал да, а во рту — нет, то что же он сказал? Он ведь два сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

— Кто куда пойдет? — спросила мать.

— В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

— Гм... — задумалась мать. — У нас не знаю. У католиков на это есть чистилище.

— Я знаю! — торжествуяще Ася. — Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами<sup>1</sup>.

— И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

— А я знаю! — я, молниеносно, — разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

---

<sup>1</sup> Персонажи из романа американской писательницы Френсис Бернет (1849—1924) «Маленький лорд Фонтлерой» — одна из любимых книг Цветаевой в детстве. — В. Л.

— Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

— Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда — одну...

— И я знаю какую! — Ася.

— Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел делать неприятность той даме, потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

— Может быть, — сказала мать, прислушиваясь, — но я этого и сама не знала.

— Потому что он был в нее влюблен! — торжествовала я, и уже безудержно:

— И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...

— Какие африканские страсти! — сказала мать. — Откуда это у тебя?

— Из Пушкина. Но я другому отдана, но буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган». <sup>1</sup>

— А по-моему, из «Курьера» <sup>2</sup>, который я тебе запретила читать.

— Нет, мама, в «Курьере» — совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

— Мама, что такое молочная сестра? — спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

— Дочь кормилицы.

— А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

— Вот.

— Фу! — сказала Ася.

— А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

— Не твоя, — подтвердила мать. — Потому что Асю кормила я, а тебя кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы был сын. Она была

---

<sup>1</sup> Хороший пример такого отношения к «африканским страстям» в рассказе Цветаевой «Мой Пушкин» (1937). — В. Л.

<sup>2</sup> «Курьер» — московская газета (1897–1904). — В. Л.

цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

— А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася.

— Ни одной, — ответила мать, — их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». — «Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту — выбрала, а ту... Ну, которую же?» — «Нет, — сказала мать. — А кого, мама, она все-таки больше жалела? — не вытерпела Ася. — Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

— Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, — я, с ненавистью.

— Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее больше любила?

— Может быть... — честно сказала мать, — то есть больше жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

— Мама, не забудь про аппендицит! — взволнованно, Ася. — Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, — тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит — и она бы, наверное, умерла, но ночью приехал доктор Ярхо из Москвы и даже без шапки и без зонтика, а шел даже град! И он был совершенно мокрый. Это правда мама, святой человек?

— Святой, — убежденно сказала мать, — я святее не встречала. И притом — совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь какая гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

— Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор — да? А когда доктор заболит, кто его спасет? Просто Бог?

— Всегда — Бог. И тогда тебя Бог. Через доктора Ярхо.

— Мама, — я, устав слушать про Асю, — а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот — пузо? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

— Непривычно, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили? Конечно, странно. Но с таким сердцем и все позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

— Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? — после долгого общего молчания спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так ушел?

— Не ушел, — сказала мать. — Не ушел, а сказал ей следующее: «Зажжем в церкви две свечи, одна будет...»

— Муся! А другая — Ася!

— Нет, имен в этой сказке нет: «...левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

— Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чуточку, кро-охотку...

— Нет, Ася, — уже строго сказала мать, — я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», — сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла.

И свечи стали гореть ровно-ровно и даже какбудто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи, как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет — другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

— А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? — Ася.

— погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже с двух разных сто-



рон — разбойник слева, мать справа, потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла — и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви, — а против церкви — солнце вставало! — разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь и...

— Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чуточку... — взволнованно, Ася.

— Две черные, — трезво я. — Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, то все опять сначала.

— Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни настолечко не сгорев... Как вчера поставили — так и стояли.

И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли — неизвестно, но когда она опомнилась — разбойника не было. Как и куда ушел — неизвестно.

Не дождалась его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

— Мама! Это был разбойник! — закричала я. — Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога, только ужасно жаль.

— Что жаль? — спросила мать.

— Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, ползлелся ни с чем! — она, конечно... я бы, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

— Вышла бы за него замуж, — поправила мать. — Женятся — мужчины.

— Потому что она его и вперед любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

— Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, — сказала мать взволнованно, — разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

— Нет, — сказала я. — Ей бы по ночам было очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой.

И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я сама бы стала отшельником и поселилась в канаве...

— А дети? — спросила мать глубоко-глубоко. — Разве можно бросить детей?

— Ну, тогда, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку.

1934

*Elancourt — сентябрь*  
*Clamart (30 октября — 1 ноября)*

Вероника Лосская

### **Об автобиографической прозе Цветаевой**

«Лета к суровой прозе клонят». Марина Цветаева как будто последовала пушкинскому наставлению, когда в начале тридцатых годов прошлого века обратилась к автобиографическим произведениям.

Если включить в эту категорию и записные книжки, обнаруженные после открытия архива в двухтысячном году, а также ее огромную переписку, получается, что поле поисков по прозаическому творчеству Цветаевой гораздо шире, чем казалось к концу прошлого века.

Автобиографическая проза действительно составляет широкий творческий пласт, начавшийся с воспоминаний об отце, матери и о собственном детстве, например «Отец и его Музей», «Мать и музыка», «Черт», «Дом у старого Пимена» и другие.

Текст, представленный выше, был создан в Париже, где к тому времени Цветаева проживала уже много лет. Описанные же события относятся к тому счастливому периоду, когда мать была еще жива, и девочки вместе с ней пребывали в Шварцвальде.

Читатель в самом рассказе, несомненно, уловил активное соперничество обеих девочек, всеми силами старавшихся завоевать внимание любимой матери.

По поводу этого соперничества стоит вспомнить недавнее прошлое, когда еще при жизни ее младшей сестры публиковались первые прозаические произведения Цветаевой.

Со слов Анастасии Ивановны, мы знаем, что Марина «много выдумывала», или что она описывала людей и события как ей хотелось, а не так все было на самом деле.

И вот Анастасия Ивановна в своих воспоминаниях дает подробности, относящиеся к их общему детству, которые значительно меняют картину. Например, она оспаривает образ строгой матери, которая якобы жалела девочкам бумагу, или предпочитала Марине младшую дочь, или когда ждала Марину очень хотела иметь сына Александра и так далее. Анастасия Ивановна тогда хотела восстановить «подлинность» событий и отгородить их от цветаевского вымысла.

Различия между воспоминаниями Марины и ее сестры стали причиной настоящей полемики, разразившейся в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов прошлого века.

Анастасия Ивановна защищала свою правду, то есть то, что она сама пережила, запомнила и описала в своих воспоминаниях.

С другой стороны, специалисты, конечно, не будучи свидетелями общего детства сестер, отстаивали право художника на творческий вымысел, даже когда он основан на реальных фактах. Тогда еще были живы несколько современников последних лет обеих сестер.

Каждый оставался на своем, но полемика послужила еще большему раздору между сторонниками столь разных позиций<sup>1</sup>.

Обо всем этом теперь можно и забыть, но разные толкования недавнего прошлого все же содействовали составлению более полного анализа цветаевского творчества.

Если обратиться к высказываниям самой Цветаевой о ее прозе, то мы найдем интересные мысли о «соответствии» рассказа с историческими фактами.

Во время создания очерка «Дом у Старого Пимена», в письме к давнему другу и корреспондентке Вере Николаевне

---

<sup>1</sup> В печати на эту тему в свое время выступали И. Кудрова (1976, 1982), А. И. Цветаева (1979, 1982), А. А. Саакянц (1983, 1986), В. Швейцер (1982, 1984), Ю. Коган (1982) и так далее... — В. Л.

Буниной, Цветаева пишет: «Я, конечно, многое, *все*, по природе своей, иносказую, но думаю — и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только толкую. Так я написала все свои большие вещи».

По поводу дня открытия знаменитого отцовского Музея, она еще поясняет: «Я, как дочь, не вправе не знать, а я *не знаю*, только помню чудную погоду, лето и слово (и чувство) *май*». И далее: «Я почти все помню эмоционально и ничего достоверного: ни числа, ни часа, ни залы, в которой был молебен /.../Словом помню, как во сне». Таким образом, соответствие, конечно есть, но оно авторское!

Читатель может еще задуматься о том, почему в автобиографической прозе Цветаевой сохраняются собственные имена, тем более, что мать во время рассказа говорит: «Имен в этой сказке нет».

То есть сама Цветаева, через слова матери, определяет разницу между сказкой и былью. И, не меняя имена, автор создает видимость документальной достоверности. Для того, чтобы документ или повествование стали для читателя убедительными, автор должен читателя заразить эмоционально. Это — главный источник художественности.

Узнавая известные имена, читатель начинает «верить» в достоверность фактов, он может и не замечать эмоциональную тональность повествования, созданную автором, но он сам заражается ею. Собственные имена и оставляют автору полную творческую свободу для «иносказания» и игры воображения, создающие условия художественного произведения.

Другая привлекательная сторона этого рассказа — примеры авторского юмора. Он основан на простом приеме повторов. Детской психологии свойственно непосредственное и, подчас, буквальное восприятие устойчивых слов и выражений, принадлежащих взрослой речи.

Дети не всегда чувствуют в данном высказывании переносный смысл, что и приводит к смешным ситуациям.

Например, Анастасия повторяет слово «ми-ни-а-тюрная», относящееся к ее внешности в детстве и явно услышанное от взрослых. Из другого рассказа Цветаевой мы узнаем, что

ее младшая сестра именно и была хорошенькой и хрупкой, а Марина жалуется на свою физическую силу, грузность и большие руки<sup>1</sup>.

В начале рассказа младшая дочь еще говорит о себе, что, когда ей «стукнуло четыре года,» — тогда она «стукнулась об камень», и у нее сделался аппендицит. Далее, идут еще разные забавные примеры повторов, как рассказ о слепой кишке: «маленькая кишка, совсем слепая и глухая».

Примеров достаточно много и Цветаева их почти систематически вкладывает в уста младшей сестры. Здесь можно задуматься об основании этого приема и рискнуть его объяснить.

В других, более поздних воспоминаниях детства Цветаевой, где также подчеркивается соперничество девочек, автор поясняет, что сестра, «все свое младенчество кормившая плагиатом»<sup>2</sup>, и довольствовалась простым подражанием взрослым! Зачем автору такие доводы?

Не просто ведь, чтобы подчеркнуть свой трудный характер! Цветаевой примеры повторов нужны, чтобы доказать особенность своего собственного пути.

Это значит, что ее личное подражание старшим всегда было творческим. Примеры такого подражания нечасто словесные, они более отвлеченные: вместо того, чтобы нанизывать слова («чистилище» и чистильщик Дик»), она берет образцом Евгения Онегина, что и вызывает возмущение матери: «Какие африканские страсти!». Или еще, вспоминая детского врача и слово «пузо» она так же, как ее сестра раньше, сама нанизывает слова — «неприлично» и «непривычно» по слуху, как будущий поэт.

Противопоставление, зависть и соперничество девочек — лейтмотив воспоминаний детства Марины Цветаевой. Она постоянно подчеркивает свою творческую натуру, тогда как ее младшая сестра довольствуется повторами взрослой речи.

Марина подыскивает рифмы незнакомым словам, Анастасия же высказывается по ассоциации. У Цветаевой есть

<sup>1</sup> Об этом мы узнаем «достоверно» из редких дошедших до нас фотографий ранней юности обеих сестер. — В. Л.

<sup>2</sup> Из рассказа «Черт» (1935). — В. Л.

еще воспоминания «африканских страстей» в рассказе «Мой Пушкин», написанном три года спустя. В нем девочка пересказывает няням интригу пушкинских «Цыган», переходя из рассказа в прямое цитирование. История с огурцом и Осипом, воспоминание Аси, тоже найдет свое место в более позднем рассказе Цветаевой.

К концу сказки Цветаева отдает должное чувству справедливости матери, так как речь идет уже не о разнице в чувствах, а о судьбе. И, неожиданно, через слова матери проскальзывает драма, пережитая самой Цветаевой: ведь она, во время революции и гражданской войны, спасая старшую дочь от смертельной болезни, не смогла уберечь младшую от голодной смерти...

И Цветаева вкладывает в уста матери мысль, силе которой она, в свое время, не смогла подчиниться. Мать ведь говорит разбойнику: «Скорей ты умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

В этом примере еще интересно и психологическое наблюдение автора: девочки чувствуют усилие матери передать равную любовь к обеим. И младшая тянет к себе материнскую любовь, а старшая уже придумывает роковой трагический исход, хотя обеим давно известно окончание сказки.

Цветаева еще в рассказе выявляет особенность своего детского максимализма, ставшего ее характерной чертой во взрослой жизни. Это свойственный ей нон-конформизм, который ее толкает на предпочтение зла добру, в сказке матери, забывая о том, что разбойник и убийца, Марина уже делает из него героя, подчеркивая этим превосходство страсти над этикой.

Можно задуматься над смыслом таких произведений, как выше приведенный «пустячок». Как сама Цветаева объясняла Вере Николаевне, воспоминания воскрешают прошлое. Но вторичная мысль не менее, а, может, и более важная причина, подтолкнувшая Цветаеву на воспоминания, относящиеся к самому раннему детству.

На своем творческом пути Цветаева не раз выбирала основной темой стихов исключительность природы поэта.

Ей близка концепция любимого ею Гёте, но и других поэтов-романтиков того, что поэт, да и, вообще, творец искусства, несомненно, является особым существом, избранником богов или Творца.

И поэтому ей самой важно подчеркнуть, что это избранничество зарождается с самого раннего детства, что оно заложено в природе ребенка. И этой особой природе она и отдает дань в этом воспоминании.

Оно ценно и интересно не потому, что она сама была такой особенной, такой талантливой девочкой, а потому именно, что с самого начала своей земной жизни она понимала и знала, что она — Поэт.

Наталья Ларцева

### «...Звезды предутренней мерцающий алмаз»

Я открыла мир цветаевской поэзии в шестидесятые годы. На меня обрушился шквал такой неистовой силы, что на время все остальное отступило на второй план. Может быть, я попала в мощное магнитное поле личности Поэта?

После опьянения стихами первое движение души было положить цветы на могилу Марины Цветаевой. И в августе шестьдесят седьмого года я поехала в Елабугу. Там впервые услышала об Анастасии Ивановне, которая была здесь несколькими годами раньше. Не найдя могилы сестры, она поставила крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Цветаева»...

О приезде Анастасии Ивановны в Елабугу мне рассказали Бродельщиковы, хозяева дома, где в августе сорок первого несколько дней жила с сыном Марина Цветаева. Они дали мне московский адрес Анастасии Ивановны: улица Горького, 26.

Тверская, мы вечно тоскуем о ней...

Как хорошо, что я тогда не застала Анастасию Ивановну дома и дала улечься эмоциям. Бросила в почтовый ящик письмо. И получила ответ с приглашением, довольно осторожным: «Будете в Москве, позвоните».

...Перед Рождеством мы встретились у Евгении Филипповны Куниной, которая жила близ Чистых прудов.

— Это мой друг, приходите, мы готовимся к елке, — сказала мне Анастасия Ивановна по телефону.



Какой это был дивный дуэт — Анастасия Ивановна и Евгения Филипповна! Первая — резкая, вспыльчивая, но сменявшая гнев на милость, и тогда вся — кротость и доброта. Вторая — мягкая, ровная, ироничная, она то и дело подтрунивала над Анастасией Ивановной, вполне безобидно, та и внимания не обращала. Евгения Филипповна называла себя эссеисткой, но писала и стихи, переводила с французского и итальянского.

Застала Анастасию Ивановну и Евгению Филипповну за работой, которая им явно доставляла удовольствие: они делали елочные игрушки из бумаги, фольги и Бог знает из чего еще. Было уютно, разговор кружился вокруг рождественских елок. Я тоже вспомнила раннее-раннее детство, когда мы с мамой вот так же что-то изобретали из спичечных коробков. Елки тогда были запрещены. И отец, помню, принес елочку, спрятанную в мешке. Это было тайной. Предощущением чуда...

Я им рассказывала, рассказывала, рассказывала, потому что они спрашивали, спрашивали, спрашивали... О моем открытии Цветаевой. О Елабуге. Очень смеялись над эпизодом в гостинице. Я спросила дежурную о том, где жила и где похоронена Марина Цветаева, а она ответила вопросом на вопрос: «Это которая вместе с Надеждой Дуровой<sup>1</sup>, что ли?» О Марине Цветаевой мало кто знал тогда.

Затем читала им цветаевские стихи взахлеб.

— А кто из современных поэтов Вам интересен? — спросила Анастасия Ивановна.

— Вознесенский.

— Вознесенский хороший поэт?

— По-моему, да.

— Докажите!

И, открыв дверь в коридор, позвала кого-то: «Идите, послушайте, Наташа будет стихи Вознесенского читать!»

---

<sup>1</sup> Дурова Надежда Андреевна (1783—1866) — первая в русской армии женщина-офицер (известная как кавалерист-девица), участница Отечественной войны 1812 года. Остаток жизни провела в Елабуге, где создан ее музей и поставлен памятник. — *Н. Л.*

Евгения Филипповна смягчила ситуацию:

— Нет, нет, Асенька! Антракт. Сейчас будет чай.

И мы пили чай. И я все-таки читала Вознесенского, тогда он мне действительно нравился. И разговор о поэзии длился и длился.

...Пройдет лет десять. И в один из моих визитов к Анастасии Ивановне — они отнюдь не были частыми — она, едва успев поздороваться, скажет:

— Вот Вы, Наташа, мне говорили о Вознесенском (?!). Вы не правы. Я на днях была на вечере Бориса (*вечере памяти Пастернака*. — Н. Л.), там выступал Андрей Вознесенский. Я ничего не поняла. Пришла домой и почитала его сборник стихов. Нет! Вы все-таки не правы!

Какой она была спорщицей и как часто сердилась!

Однажды мы договорились вместе — она, Евгения Филипповна и я пойти на «Федру» в кинотеатр «Зенит». Я взяла билеты и зашла за Куниной.

— Ася, конечно, опоздает! — волновалась Евгения Филипповна.

Телефонный звонок.

— Взяли билет? Спасибо. А какой ряд? Семнадцатый?! Я не пойду!

— Как хотите. Мы с Евгенией Филипповной выходим.

Она все-таки пришла. Но села от нас отдельно, на третий ряд.

— Мне надо опробовать слуховой аппарат!

После сеанса Анастасия Ивановна распекала «Федру».

— За качество итальянского кино мы с Наташей ответственности не несем! — пошутила Евгения Филипповна.

Почему-то вспомнили Татьяну Самойлову в «Анне Карениной».

— Вам нравится Самойлова?! А Вы помните этот жест?

И Анастасия Ивановна хлопнула обеими руками себя по бедрам.

— Это Анна-то Каренина, дворянка!

...Актерам вообще часто от нее доставалось. Особенно тем, кто читал стихи Марины Цветаевой со сцены.

На протяжении многих лет мы переписывались. Анастасия Ивановна обычно писала почтовые открытки, они были всегда лаконичны и по делу<sup>1</sup>. А письма Евгении Филипповны Куниной были лирические, и писала она их как бы от лица обеих. «Наша дорогая Наташа», — так они начинались. Для Анастасии Ивановны и Евгении Филипповны я так навсегда и осталась «Наташей из Петрозаводска».

Могла не появляться пять—семь лет. Но когда звонила, всегда слышала в ответ: «Наташа? А-а, из Петрозаводска...» И мне назначалось время свидания.

### ***«Голос и шаг сохранила мне судьба»***

Уже в нашу первую встречу с Анастасией Ивановной я пожалела, что не взяла с собой магнитофон. Я ведь шла к ней не как радиожурналист и вообще не как журналист — слава Богу! И не к ней, собственно, я шла, а по душу ее гениальной сестры, в тени которой она для меня тогда оставалась.

Что Анастасия Ивановна Цветаева самобытна и самодостаточна я поняла гораздо позже. Она не рассказывала о себе, потому что я не спрашивала ее об этом. Все наши разговоры кружились вокруг Марины Цветаевой.

После того как мы встретились в доме Куниной, Анастасия Ивановна пригласила меня к себе. Жила она в длинной узкой комнате коммунальной квартиры. «Вторая дверь слева». В коридор выходила, надевая шапку и шарфик. В доме — «бумаг божественная смута».

Вероятно, в этой смуте был свой порядок. По крайней мере, среди груды книг и рукописей Анастасия Ивановна сразу отыскала на рояле маленькую книжечку — «Избранное» Марины Цветаевой с автографом Ариадны Эфрон: «Асеньке — долгожданную и выстраданную. Аля. Октябрь шестьдесят первого года».

Мы говорили об этом многострадальном сборнике. Анастасия Ивановна прочла мне стихи ранней Марины Цвета-

---

<sup>1</sup> В архиве Анастасии Ивановны сохранилось девятнадцать почтовых отправлений Н. В. Ларцевой за период 1967—1991 годов. — *Ред.*

евой, рассказав, как они в юности читали их со сцены вдвоем, «в унисон».

*Стоишь у двери с саквояжем,  
Какая грусть в лице твоём!  
Пока не поздно, хочешь, скажем  
В последний раз стихи вдвоём...*

Вот когда я пожалела, что не взяла магнитофон! Но мы договорились о записи.

И вскоре я вновь приехала. Анастасия Ивановна, не обращая никакого внимания на микрофон, прочла одиннадцать стихотворений, которые они с Мариной читали вместе. И к этому добавила:

— В заключение скажу, что я читала стихи моей сестры Марины не потому, что я читаю лучше, чем другие, которые читают ее стихи во множестве городов и залов, а потому, что я читала так, как мы их читали вдвоем. Наши голоса были настолько похожи, что сестра старшая<sup>1</sup> не могла отличить в соседней комнате, кто из нас говорит: те же интонации были, те же повышения и понижения голоса...

И когда Марина, написав стихи, приходила прочесть их мне, память у меня была хорошая, мы начинали повторять их вместе. И часто читали вдвоем.

Но надо помнить, что мне сейчас будет семьдесят четыре года, а читали мы в молодости, когда они были написаны. Однако должна сказать, что две вещи от нашего тогдашнего существования сохранились во мне. Это шаг — надо вспомнить Маринину «Оду пешему ходу» — и голос. Часто, когда я говорю по телефону, а человек меня не знает, он думает, что я молода и не верит, что мне столько лет. Голос и шаг сохранила мне судьба...

Пообещала Анастасии Ивановне, что не буду этой магнитофонной записью пользоваться до той поры, пока не придет ей время. Оно пришло через двадцать пять лет! В год столетия поэта я подготовила радиорассказ. В нем прозвучали и стихи Марины Цветаевой в исполнении ее младшей сестры...

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Валерия Ивановна Цветаева — Н. Л.

В один из первых приездов я читала Анастасии Ивановне и Евгении Филипповне Куниной начало задуманной мною книги по названию «Семь встреч с Мариной Цветаевой»<sup>1</sup>. Анастасия Ивановна, усаживаясь за стол, строго сказала:

— Имейте в виду, всем говорю, что думаю. Без скидок. У меня десятки писем, где каждый говорит: «Моя Цветаева. Моя!» Я эти письма складываю, а отвечать не хочу!

Евгения Филипповна мягко улыбнулась мне — и я прочла те несколько страниц, которые так и остались в моем столе несколькими страницами. Анастасия Ивановна была уверена, впрочем, и я тоже, что это начало... Сказала: «Мне нравится! Без экзальтации, сдержанно. Значит, есть что сдерживать. Умно. Эта книга будет жить! Я рада».

Думаю, что именно эти минуты нас сблизили. И обе они — Анастасия Ивановна и Евгения Филипповна приняли меня в свой круг, в свое сердце.

Книга «Семь встреч с Мариной Цветаевой» уже стояла в плане издательства, когда по чистой случайности ко мне попала рукопись — машинописный вариант, которую Цветаева подготовила для Гослитиздата, вернувшись из Франции. И к пятидесятилетию гибели поэта в издательстве «Карелия» вышла совсем другая книга: «Где отступается Любовь...» — сборник сорокового года и история его неиздания<sup>2</sup>. А «Семь встреч» так и остались в письменном столе. Небольшие отрывки из них вошли потом в книгу «Деревья! К вам иду!»<sup>3</sup>.

Если бы я умела так работать, как Анастасия Ивановна! В любой обстановке, ежедневно, расписывая время по минутам. Дар трудолюбия у сестер Цветаевых был равноценен.

---

<sup>1</sup> Задуманная и принятая к изданию книга «Семь встреч с Мариной Цветаевой» — это счастливая пора в моей жизни, когда я шла по еще не остывшим следам Поэта: Москва, Таруса, Коктебель, Александров, Прага, Париж, Елабуга. — *Н. Л.*

<sup>2</sup> Цветаева М. Где отступается Любовь...: Сб. 40-го года. Последние стихи и письма. Воспоминания современников. Петрозаводск: Карелия, 1991.

<sup>3</sup> Цветаева М. «Деревья! К вам иду!». Петрозаводск: ПетроПресс, 2002. — *Н. Л.*

К Новому году, семьдесят пятому, Анастасия Ивановна прислала мне второе издание своих «Воспоминаний» с автографом. Потом читала в рукописи ее «Московского звонаря». Была поражена и темой, и воплощением.

Она рассказала, что отнесла рукопись в редакцию журнала «Москва». Пришла к редактору и заявила: «Я ваш журнал не читаю, как вообще всех журналов, у меня на это нет времени. Но моя повесть называется „Московский звонарь“, а вы журнал „Москва“. Поэтому вам и принесла. Не понравится — сразу верните. Понравится — сразу печатайте. Мне восемьдесят два года, я не могу ждать».

Журнал «Москва» эту повесть напечатал.

И вот при такой напряженной работе Анастасия Иваловна всегда находила время для встреч и совместных прогулок. Ходила она легко и быстро. И в этом тоже было ее сходство с Мариной Цветаевой, о летящей походке которой так много написано!

Шаг Анастасии Цветаевой был стремителен, она размахивала палочкой, на которую *не* опиралась! Палочка была волшебной — одним взмахом переносила меня в Москву их с Мариной детства. Грустно мне было в год столетия Анастасии Ивановны видеть эту палочку на выставке ее памяти. Теперь это музейный экспонат...

— Мне иногда кажется, я одна осталась из тех, кто все это помнит! — говорила она. — Наш дом в Трехпрудном переулке стоял как раз посредине Исторического музея.

— Но ведь музей на Тверской!

— Ну, и что же, что на Тверской! Вы измерьте, сколько будет шагов, если пройти весь музей, поделите на два, а потом это количество шагов отсчитайте по Трехпрудному. И вот это и будет место нашего дома!

Представить только, как она отмеривала шаги на многолюдной Тверской! Ее толкали, она размахивала палочкой, отмахивалась ею...

Прошла ее путем. Отмерила. Поделила. И ровно половину — не помню, сколько это получилось шагов — прошла по Трехпрудному. Теперь на этом месте стоит шестиэтажный дом из красного кирпича. Номер 8.

*Слава прабабушек томных  
Домики старой Москвы,  
Из переулочков скромных  
Все исчезаете вы...*

Представила себе уютный одноэтажный дом, «превратившийся теперь в стихи», погребенный под этим «шестиэтажным уродом», серебристый тополь. Девочку Мусю, всегда во всем первую, умеющую складывать язык трубочкой, шевелить ушами и разводить веером пальцы на ногах. И девочку Асю, младшую, признавшую раз и навсегда Музино превосходство...

Анастасия Ивановна перекрестила меня на прощание и предложила: «Если буду хорошо себя чувствовать, поедemте со мной в Тарусу».

Не случилось. Все дела, дела, дела... «Дело дней — жизнь», — говорила Марина Цветаева.

Со многими меня Анастасия Ивановна познакомила. По ее рекомендации я была в доме Тагеров.

— Сходите обязательно, Вы увидите там то, что не увидите нигде: посмертную маску Бориса Пастернака!

И к Марии Степановне Волошиной в Коктебель я пришла по рекомендации Анастасии Ивановны. Тогда еще не было в этом доме музея, и вдова поэта, как правило, никого к себе не пускала.

— Ну, раз Асенька просит, — сказала Мария Степановна и вечером того же дня читала мне стихи Макса, рассказывала об удивительных встречах в этом доме...

### **«Ми шестнадцать дизелов мажор»**

...В восемьдесят четвертом году Анастасии Ивановне исполнилось девяносто лет. К юбилею я послала ей телеграмму: *«Да здравствует ми шестнадцать дизелов! Мажор!»*

Так когда-то определил ее тональность Константин Сараджев, московский звонарь, уникальный музыкант, различавший в октаве тысяча семьсот один звук! Все, окружав-

шее его, для него *звучало*, будь то вещь, фотография или человек.

Тональность Марины Цветаевой он определял как «ми семнадцать бемолей минор».

— Удивительно, это основное звучание комнаты, — говорил он в гостях у Анастасии Ивановны, переходя от одной фотографии Марины Цветаевой к другой, не подозревая — или не обращая внимания, что он видит одного и того же человека в разные годы. Эти «ми семнадцать бемолей минор» я, бывая у Анастасии Ивановны, нет, не слышала, а все время ощущала. И вот впервые настроилась на «ми шестнадцать диезов мажор».

Получила открытку от Анастасии Ивановны с приглашением приехать и новым номером ее телефона.

...Позвонила ей с Комсомольской площади, и она подробно меня проинструктировала, как найти Большую Спасскую, 8.

— Звоните три раза, — строго наказала Анастасия Ивановна, хотя жила она теперь — наконец-то! — в отдельной квартире № 58, что ее очень забавляло: судили когда-то по 58-й статье и квартиру дали под тем же номером!

Я позвонила три раза, и дверь мне открыла молодая женщина по имени Ира, одна из верных помощниц Анастасии Ивановны.

— Это Наташа? Проходите, сейчас я освобожусь. Только диктую Ире телеграмму. Это срочно. — И диктует подробный рецепт какого-то гомеопатического лекарства.

Ира говорит: «Очень длинно. Давайте я напишу покороче».

— Покороче будет бестолково. Я знаю. Пусть будет длинно.

...Я привезла с собой толстую, в самиздатовском переплете книгу, в которой были все журнальные публикации Анастасии Цветаевой, начиная с шестьдесят девятого года до восемьдесят четвертого.

— Вот ваше полное собрание сочинений, — торжественно сказала я. — Приехала за автографом!

— А почему Вы, Наташа, думаете, что полное? Я ведь еще не умерла. Сейчас пишу воспоминания о Марусе Волошиной и о Бореньке (*Борисе Пастернаке*. — Н. Л.). И в замыслах еще очень многое...



Вот такой мне щелчок по носу! И поделом. После своего девяностолетия Анастасия Цветаева еще столько написала!

Перелистывая привезенный мною том, она кое-что комментировала, рассказывала о себе. «Когда я была на поселении в Сибири, ко мне невестка привезла внучку Риту. Я купила старую конюшню за тысячу рублей, и в ней мы жили. Ставила над Ритиной кроватью полог, чтобы снег не попадал на ребенка. Утром стряхивала снег с одеяла. Риту я закалила. Учила ее двум языкам. Она потом работала в “Интуристе”».

«Там, в Сибири, на поселении, страшно пили и дрались. Я разнимала. Висла на дерущихся. А потом придумала разливать их холодной водой. У меня всегда было ведро с водой и ковш наготове»<sup>1</sup>.

За все время нашего знакомства Анастасия Ивановна ни разу не пожаловалась на что-то или на кого-то.

...Как часто я убеждалась, что она не ведет отношений с людьми по тому, как они к ней расположены. И что она умеет взвешивать мнения, ей противоположные, иногда принимать их. Однажды она встретила меня вопросом: — Вы читали открытое письмо Виктории Швейцер<sup>2</sup> ко мне?

---

<sup>1</sup> Упомянутые Анастасией Ивановной сцены относятся не к поселению (ссылке) в Сибири, а к ее заключению в лагере.

<sup>2</sup> Швейцер Виктория Александровна (род. 1932) — одна из пионеров отечественного цветаеведения. С 1978 г. живет в эмиграции в США. В ее открытом письме (Швейцер В. Открытое письмо Анастасии Цветаевой по поводу 2-го тома ее «Воспоминаний» // Синтаксис. Париж, 1982. № 10. С. 217—223) содержалось обвинение Анастасии Ивановне в сознательной лжи в той части «Воспоминаний», где она пишет о Муре как о единственном виновнике гибели своей матери. Возражая Анастасии Ивановне, В. А. Швейцер полностью переносит вину в гибели М. Цветаевой с «грубого подростка» на руководящую писательскую верхушку, не поддерживавшую в тяжелых условиях эвакуации М. И. Цветаеву. Анастасия Ивановна болезненно приняла упреки автора «Открытого письма», но, по-видимому, прислушалась к ее аргументам, так как в последующих изданиях «Воспоминаний» смягчила категоричность своих высказываний о елабужской трагедии. Впоследствии она отозвалась на книгу В. А. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой» (Париж: Синтаксис, 1988) благожелательной рецензией (Цветаева А. О книге Виктории Швейцер // Независимая газ. 1991. 21 мая).

— Нет, я только слышала о нем.

— Сейчас дам почитать.

«Открытое письмо» касалось «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой, оно было опубликовано в журнале «Синтаксис».

На мой взгляд, это был тот случай, когда обе стороны были правы — у них совершенно разное мировосприятие. Анастасия Ивановна не возмущалась, не комментировала письмо. Промолчала. Через какое-то время Виктория Швейцер, приехав, подарила ей свою книгу «Быт и бытие Марины Цветаевой», вышедшую в Париже.

И книга Анастасии Ивановне понравилась! Она, по-моему, искренне была этому рада. Впервые я тогда подумала, что так нелегко быть сестрой Марины Цветаевой. Ведь их поневоле сравнивают и спрос неимоверно высок.

Один раз и я впала в этот грех. При мне к Анастасии Ивановне пришли англичане за стихами, написанными ею на английском языке. Анастасия Ивановна уже тогда плохо видела, но взгляд мой перехватила или почувствовала его.

— Я знаю, что Вы подумали: при такой сестре мне нельзя писать стихи. Я и не писала. Сами написались. И сами кончились.

Стихи «сами написались» в тюрьме:

*...Как странно начинать писать стихи,  
Которым, может, век не прозвучать...  
Так будьте же, слова мои тихи,  
На вас тюремная лежит печать...*

В «Моем единственном сборнике», вышедшем посмертно, Анастасия Ивановна писала в коротком предисловии: «...в моих стихах — никакого сходства с Мариной. Марина — гений, я — просто талантливый человек, каких много».

Никогда я не замечала в Анастасии Ивановне соперничества с сестрой. Примеров служения ей — сколько угодно. К ней обращались переводчики стихов Марины Цветаевой за советом и оценкой. Она дала мне однажды почитать два перевода на немецкий стихотворения «Попытка ревности».

— Мне понравилось, — говорила Анастасия Ивановна, — что Маринино «удар весла» Райнер Кирш так и перевел «Ruder-schlag», это звучит в ритме<sup>1</sup>. А у Марии Разумовской «поправшему Синай» переведено как «поправившему Синай», что искажает смысл. А вообще ее перевод кажется мне поэтичнее<sup>2</sup>.

...Анастасия Ивановна не под влиянием сестры, а самостоятельно сложилась как писатель еще в двадцатые годы. И у нее свой взгляд, свой путь, свое место в русской литературе.

Взгляд ее на окружающий мир был широк, сердце щедро, характер строптив, но она его смиряла, ибо была христианкой. Тогда, в восемьдесят четвертом, она подарила мне такой автограф к «неполному собранию сочинений»:

*«Дорогой Наташе Ларцевой на добрую память о нас с Мариной — самую полную до сей поры историю Цветаевых. С самыми добрыми пожеланиями мира в семье — и на планете, радости в близких душах... Храни Вас и Ваших Господь».*

С этой поры каждый из автографов, написанных Анастасией Цветаевой, будет заканчиваться неизменно словами: «Храни Вас Бог».

### **«Храни Вас Бог!»**

В одну из первых наших встреч Анастасия Ивановна сказала: «Как Вы, Наташа, можете жить в этом лесу жизни, не чувствуя руки Бога». Потом она часто возвращалась к этой теме, настойчиво наставляя меня на путь веры.

Рассказала, как, находясь в сибирской ссылке, испросила разрешения отпеть Марину Цветаеву, хотя по законам православной церкви самоубийцам в этом отказано. Совершив обряд, пошла на местное кладбище в поисках заброшенной могилы. Ветер вырвал у нее из рук узелок с землей, и она догнала его возле безымянного холмика! В него и закопала освященную церковью землю.

---

<sup>1</sup> Zwetajewa M. Gedichte-Prosa: Russisch und Deutsch. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1987. S. 59.

<sup>2</sup> Zwetajewa M. Gedichte. 1909—1939. Wien: Europäischer Verlag Wien, 1979. S. 87. — *Ред.*

Я тогда не знала, что Анастасия Цветаева с двадцати семи лет отказалась от всех мирских соблазнов, что она монахиня во миру. Не дорожила богатством, мирилась с нищетой. Легко раздавала деньги, которые получала за свои книги, родным, близким и просто нуждающимся. Я часто слышала, как в разговоре с Евгенией Филипповной Куниной Анастасия Ивановна мимоходом говорила: «Ну, помнишь, это было тогда, когда у меня еще были деньги».

Узнав, что мой муж тяжело болен, сказала: «Я буду молиться за него».

Жила безбытно. Из всей более чем скромной обстановки только и помню, что иконостас и рояль. И стены, на которых свободного места не было. Фотографии, фотографии, портреты... Чаше всего — Марины Цветаевой. Какое-то время висел портрет Михаила Горбачева! Заметив мое удивление, сказала: «При нем впервые напечатали Мандельштама». А вообще о политике не говорила никогда.

Однажды все стены ее комнаты были увешаны рисунками Оленьки Мещерской, правнучки. На них — синее-синее небо, маковки церквей, кресты...

Незадолго до выхода книги «Где отступается Любовь» я приехала в Москву прочитать Анастасии Ивановне свою статью в журнале «Север» к истории рождения книги<sup>1</sup>.

— Наташа? Проходите в комнату. Я Вас жду. Я совсем ничего не вижу! — Все та же Анастасия Ивановна, в халате, который ей очень широк, худенькая. С лицом одухотворенным и прекрасным. Она меня повела на кухню пить чай. Все из того же старенького, выдавшего виды чайника: «Моя внучка Рита любит все дорогое. — Она говорит — красивое, а я — все дешевое».

Достала блюдце для фиников, которые я принесла с собой, торжественно сказав:

— Очень свежие финики! В них самое ценное — косточки. Из каждой может вырасти финиковая пальма. Будем косточки складывать на это блюдце. — Как будто собиралась вырастить финиковую рощу под окном!

---

<sup>1</sup> Ларцева Н. В. «К тебе, имеющему быть рожденным...»: (О неизданном сборнике стихов Марины Цветаевой) // Север. 1990. № 11. — *Ред.*

Потом мы перебрались в комнату. Анастасия Ивановна, устроившись в кресле и приладив слуховой аппарат, вся превратилась в слух. Она не отвечала на телефонные звонки. Пришедших к назначенному часу иностранцев попросила подождать. Была очень взволнована и захотела чем-то меня отблагодарить.

Достала из пачки четыре номера журнала девяностого года «Москва» с только что опубликованным ее романом «Атог». Долго писала автограф:

*«Дорогой Марине – простите, это мной написано сразу после прочтения вашей великолепной статьи о моей сестре Марине! Дорогой Наташе Ларцевой мой полвека молчавший роман. С любовью!»*

*4 декабря 1990 г. Праздник Введения во Храм Богородицы».*

А потом, как мне говорили, она часто повторяла: «Никто не догадался издать сборник, и я, дура старая, тоже! А вот Наташа из Петрозаводска...»

Актер петрозаводского театра «Творческая мастерская» Геннадий Залогин<sup>1</sup> однажды подошел в Москве к Анастасии Ивановне с книгой «Где отступается Любовь» за автографом, и она написала:

*«Геннадью Залогину, жителю города, где Н.В. Ларцева, первая из всех, издала книгу стихов отобранных самой сестрой моей Мариной и отвергнутых <К.З.> через год после возвращения Марины на Родину... Анастасия Цветаева 30.X.91.»*

Письмо в редакцию газеты «Северный курьер» было еще горячее:

*«Удивительно, что никто из москвичей не сделал того, что сделала в Петрозаводске живущая Наталья Ларцева: напечатала ту книгу моей сестры Марины Цветаевой, которую она незадолго до своей смерти собрала и которую «зарезал» К.З. (автор внутренней рецензии на сборник*

---

<sup>1</sup> Залогин Геннадий Борисович (1953–2009) – актер. Возглавлял Карельский Дом актера, позже – директор молодежного театра «Творческая мастерская». В последние годы работал в Москве в театре «Et Cetera» заместителем директора. – Н. Л.

*М. Цветаевой. — Н. Л.), назвав «формализмом». Это величайшая заслуга Натальи Ларцевой.*

*И вторая ее заслуга, ставящая ее выше всех цветаеведов, — это ею составленная книжечка афоризмов моей сестры Марины — выбранные мысли и утверждения. Честь ей и слава! Анастасия Цветаева, на девяносто девятом году жизни. Москва».*

Ко мне сразу примчались за комментарием. Ну, что тут скажешь? Разумеется, оценка чрезмерная. Но таков уж характер Анастасии Ивановны — сполна и через край!

О том, как мне пришла в голову мысль издать сборник сорокового года, я написала в предисловии к книге. Это одно из чудес, которых в моей жизни немало.

Тридцать первого августа девяносто первого года, день пятидесятилетия со дня гибели Марины Цветаевой совпал с Днем Москвы! Столица в этот день ликовала, светилась от улыбок москвичей: они только что отстояли Белый дом и верили, что это начало удивительной жизни...

Солнце тоже участвовало в празднике. Затопило весь город.

Я торопилась сквозь ликующую толпу в церковь у Никитских ворот, где когда-то венчался Пушкин с Наталией Гончаровой. А нынче должна была быть панихида по Марине Цветаевой. Всю дорогу во мне звучали цветаевские стихи:

*У меня в Москве купола горят  
У меня в Москве колокола звонят...  
И гробницы, в ряд, у меня стоят, —  
В них царицы спят и цари.*

*И не знаешь ты, что зарей в Кремле  
Легче дышится, чем на всей земле!  
И не знаешь ты, что зарей в Кремле  
Я молюсь тебе — до зари...*

Звонят колокола! И, конечно же, не случайно день памяти Поэта совпал с Днем Москвы.

*...В дивном граде сём,  
В мирном граде сём,  
Иде и мёртвой мне  
Будет радостно, —  
Царевать тебе, горевать тебе,  
Принимать венец  
О, мой первенец!*

*Ты постом — говей,  
Не сурьми бровей,  
И все сорок чти —  
Сороков церквей.  
Исходи пешком — молодым шажком! —  
Всё привольное  
Семихолмие.*

*Будет твой черёд:  
Тожже — дочери  
Передашь Москву  
С нежной горечью.  
Мне же — вольный сон,  
Колокольный звон,  
Зори ранние  
На Ваганьково.*

Как было бы естественно и хорошо лежать Марине Цветаевой на Ваганьковском кладбище рядом с отцом, профессором Московского университета Иваном Владимировичем Цветаевым, чьими трудами в Москве создан Музей изящных искусств, рядом с матерью и дедом...

Но наше лихолетье раскидало людей, обездомило, полома-ло столько судеб!

Мы собрались в Борисоглебском переулке возле дома Поэта, еще не до конца отреставрированного. Среди самых почетных гостей была здесь и Анастасия Ивановна Цветаева.

«Ave, Maria!» — пел хор.

Дарила знакомым и незнакомым людям книгу «Где отступается Любовь». Как радостно — дарить!

В середине дня грянула гроза. И захотелось, как в детстве, промокнуть до нитки под веселым дождем.

Никто не расхотелся. В эти минуты поверила, что Дому Поэта — быть! Что на этот раз Марина Цветаева вернулась в свою Москву навсегда! И поэтому Москва ликует...

### *«Дольше всего продержалась душа»<sup>1</sup>*

Сувенирную книжечку «Песня и формула» вместе с художником Владимиром Лобановым мы издали к столетию Марины Цветаевой<sup>2</sup>. В Москве на торжествах я Анастасии Ивановны не встретила, книжечку для нее оставила в цветаевском музее.

И вскоре получила письмо — последнее! — слепым почерком написанное:

*«7/XI-92*

*Милая Наташа! Давно уже не могу читать. Но мне прочли кое-что из Вашей маленькой — о Марине — книжки. И Ирина, одарив и меня и себя ею, наполнилась таким желанием ее иметь!*

*Уцелела ли хоть одна из них у Вас? Не пришлете ли за любую цену? И моему врачу я хотела бы подарить.*

*Благодарю я Вас и за издание большой книги, самой Мариной собранной...*

*...Болею, нигде не бываю. Храни Вас Бог!*

*Ваша Анастасия Цветаева».*

Отложив все дела, я поехала в Москву и, взяв с собой несколько сувенирных книжечек, пошла к Анастасии Ивановне. Как оказалось, в последний раз...

В доме собрались близкие ей люди. Среди них Доброслава Анатольевна Донская, Александр Ковальджи, Ирина Карташевская. Они попеременно дежурили, не оставляя Анастасию Ивановну одну.

При мне пришел Андрей Борисович Трухачев, сын Анастасии Ивановны. Ему было восемьдесят лет, но выглядел он

---

<sup>1</sup> Из стихотворения Е. Ф. Куниной: «Дольше всего продержалась душа...» (опубл.: Пухальская Г. Встречи с А. И. Цветаевой. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во, 1996.

<sup>2</sup> Цветаева М. Песня и формула. Петрозаводск: Петрополь, 1992. — Ред.



моложе. Не думалось, что очень скоро он уйдет из жизни и уведет за собой мать...

Их отношения были трогательны:

— Асенька! У тебя не кончились грецкие орехи? Ты должна их все время иметь! — с порога заговорил он.

Анастасия Ивановна взяла одну из привезенных мною книжек и, даря их Андрею Борисовичу, строго сказала:

— Вот, это единственная, не потеряй! Больше нет. Это Наташа из Петрозаводска привезла!

...Вскоре Андрей Борисович собрался уходить. И мать ему что-то говорила и говорила в прихожей.

...Вечером мы чаевничали.

— Сегодня ночью подежурит Наташа, — сказала Доброслава Анатольевна. — У Саши вечерняя работа.

— Нет-нет, — решительно запротестовала Анастасия Ивановна. — Наташа не знает, где лекарства, какие, когда... Она тоже пусть ночует, но Саша должен прийти. Мы ему поставим раскладушку в комнате.

Я устроилась на диване в кухне. Слышала, как Анастасия Ивановна молится. Долго, с длинными паузами. Думаю, заснула. Нет! Вновь за кого-то просит... И снова тишина... Ковальджи пришел поздно. Удивилась его умению говорить с Анастасией Ивановной строго и одновременно ласково:

— Нет, я знаю, как надо... Я сам знаю... Сейчас мы промоем глаза...

Утром Саша ушел раньше, чем мы проснулись. Анастасия Ивановна была приветлива и разговорчива:

— Наташа, Вы умеете варить гречневую кашу?

— Попробую.

Она мною руководила. Потом мы завтракали. И Анастасия Ивановна все меня подхвалявала. За обе книги и за гречневую кашу...

Подарила мне свою книгу «Неисчерпаемое». Попросила прочитать вслух рассказ «История моей двойки», который ей самой нравился, и едва я начала читать, она заулыбалась, как будто вернулась в ту гимназию, на тот урок, где заработала двойку по математике.

Неисчерпаема была кладовая памяти и сердца! Анастасия Ивановна возвращала нам пережитое с щедростью человека, который не может не поделиться своим богатством! И еще одну книгу она мне в тот день подарила — «О чудесах и чудесном» — с пожеланием чудес в моей жизни.

Провожая, перекрестила. В последний раз!

...Станислав Айдинян, секретарь Анастасии Цветаевой, сказал, что книжную миниатюру «Песня и формула» она держала рядом с молитвенником в ящичке маленького стола, что стоял в изголовье...

Однако Анастасия Ивановна не всегда соглашалась с сестрой. Когда я однажды прочла свое наилюбимейшее цветаевское стихотворение:

*Отказываюсь — быть  
В бедламе нелюдей,  
Отказываюсь — жить...*

— она твердо сказала: «Здесь Марина не права. Нельзя *так* разговаривать с Богом».

Собственным примером Анастасия Ивановна учила всех терпению. Меня всякий раз поражало, как беззлобно рассказывала о годах, проведенных в сталинских лагерях и ссылке. До сих пор слышу ее живую интонацию, неожиданно смягченную улыбкой!

Думается, под ее влиянием я писала потом «Театр расстрелянный»<sup>1</sup> — книгу памяти моих родителей. Мне многие говорили, что она получилась светлой. «Тяжелого чувства нет, потому что Вы нашли особый тон повествования, источник святой», — писала мне Доброслава Анатольевна Донская.

...Я благодарна судьбе за встречу с Анастасией Цветаевой. Уверена, факел смирения, о котором она писала в своих стихах и который пронесла сквозь жизнь, будет светить многим.

Эти воспоминания об Анастасии Ивановне Цветаевой я написала давно, сразу после ее кончины. По просьбе Глеба Казимировича Васильева.

---

<sup>1</sup> Ларцева Н. Театр расстрелянный. Петрозаводск: Петропресс, 1998.

Уникальный был человек. Он принадлежал к одному из древнейших русских родов, роду князей Вяземских. Аристократизм и высокая культура отличали его.

Глеб Казимирович и его жена Галина Яковлевна Никитина не просто дружили с Анастасией Ивановной, они ей самозабвенно служили. Вели ее архив, готовили публикации. Их маленькая двухкомнатная «хрущевка» была самиздатовским центром. В разное время выходили автографы Анастасии Цветаевой, ее сказки, стихи, устные рассказы.

Они выпустили вместе с Ольгой Трухачевой, внучкой Анастасии Ивановны Цветаевой, девять изящных миниатюрных книжечек «Избранное». Тиражом едва ли больше десятка. Тем более мне было приятно получить в подарок от них это редкостное издание.

«Ваши Глебы». Так их стали звать с легкой руки Анастасии Ивановны...

Много лет они работали, готовя «Воспоминания». И вот после ухода Глеба Казимировича из жизни Дом-музей Марины Цветаевой в Москве продолжил начатую работу. Когда я в конце прошлого года получила письмо с просьбой написать комментарии к своей уже позабытой рукописи, я отодвинула все дела.

Когда-то, когда я отошла от цветаевской темы, погрузившись в работу над «Театром расстрелянным», Анастасия Ивановна сказала мне: «Вам, Наташа, не надо уходить от Марины Цветаевой — у Вас на нее абсолютный слух». Так было.

Дороже этой похвалы у меня нет!

### Разрешающий аккорд

*Утешение*

*Чего страшусь? И глад и хлад минуют,  
Недуг, сжигая тело, поит дух,  
И зов о помощи не пребывает втуне  
Доколь смиренья факел не потух.  
Я верую. О Боже, помоги же,*

*В ничтожества и затемненья час  
Молю, а из-за туч восходит, вижу  
Звезды предутренней мерцающий алмаз.  
Воздушных гор лиловые воскрылья  
Грядой крылатою покрыли небосклон,  
И золотую солнечную пылью  
Весь край дальневосточный напоён.*

*Недолго нам от вечности таиться,  
Запятав голову под смертное крыло, —  
Настанет час души! И вещей птицей  
Бессмертия живой воды напиться  
Из мрака тела — в дух, где тихо и светло!*

1943 г., сталинский лагерь  
на Дальнем Востоке.

Николай Панченко<sup>1</sup>

**«Как первый снег, как первоцветы...»**

*К 90-летию со дня рождения*

Поэт Николай Панченко всю жизнь писал — уничтожал, терял и не мог оторвать от себя прозу, от которой требовал того же мгновенного постижения потусторонней тайны бытия — вплоть до требования из Камю: «Господа, шляпы долой!»

Квантовое состояние неопределенности — мучительно. Все ипостаси смешиваются — поэт, бражник, воин, каторжник, король, маленький, как ласточка в парение — скольжение, обыкновение, волновое состояние — ненавистны.

Мучительный поиск непостижимой запредельности «за тем пределом» возможным, «если ангел не спит. Шуршит крылами».

Он из породы великанов. Хотя и не был физически большим, но точно подходил под китайское определение героя — «...и сидит, как гора, двигается, как муравей, останавливается, как вбитый гвоздь».

В ранних стихах — «на своих сорок третьих, как вкопанный в землю стою». Ощущение молодости «мне все дано, мне все дано» и раннее противостояние совершенному, казалось бы эпическому, но бесчеловечному военному подвигу. «Баллада о расстрелянном сердце» написана им в сорок четвертом году!

Но до конца жизни пронесено это богатырское бытие мгновения восторга в бою:

---

<sup>1</sup> Читайте в «Гранях» — №№ 193, 218, 233, 241–244 («Тарусские страницы») — поэтические подборки Н.П. И в №№ 203, 204, 223 его прозу. — *Ред.*

*Блаженствовать — идти на рать / Без рати, дуриком, на  
гибель / И как узду аорту рвать, / истершуюся на изгибе...*

*\* \* \**

*Неужто Пушкину ума,  
Чтоб не погибнуть, — не достало?  
Ума и сердца, ох, как мало,  
Чтоб не погибнуть, —  
Тут нужна  
Из ста хотя б одна струна  
Фальшивая —  
Чтоб сладко пела,  
Когда любовь едва жива,  
И каменная голова,  
И душу ржавчина разъела.*

*А эта пела бы и пела,  
Лукавым тронута перстом.*

*Нет Пушкина,  
Так что же в том?!  
Он не жилец здесь — вот в чём дело...*

*В разврате каменейте смело  
Под дулом страха  
И кнутом.*

\* \* \*

*Жить, как известно, невозможно  
И, тем не менее, живём —  
И сложно,  
И неосторожно,  
И даже то, что непреложно,  
Строкой неловкой достаём  
Нечаянно — всё невзначай! —  
И ничего, что стоит риска,  
Из прошнурованного списка  
Предписанных полезных дел.  
  
Кому случалось за предел  
Хоть раз проникнуть,  
  тот спокоен —  
Поэт он, бражник или воин:  
Он в очи дивные глядел...*

\* \* \*

*Спросонок полморды умою.  
Заветные мысли гоня.  
Тоска по земле и по морю  
Всё глубже уходит в меня.*

*Мне снится бамбуковый остров –  
Там солнце из моря встаёт.  
Мечты недостроенный остов  
В дырявом сарае гниёт.*

*Мы стары, нам поздно отсюда:  
Не землю — нам в землю пора.  
И только надежда на чудо  
Ведёт нас за кончик пера.*

\* \* \*

*Выздоровливаю медленно  
Сам не знаю, отчего.  
Что-то то, что было, съедено  
Из остатка моего.*

*Что-то то, на что уменьшенный,  
Человек, как муравей, –  
Ни мужчины и ни женщины  
Нет под шапкою моей.*

*И, наверно, оттого душа  
Разрывается с трудом  
На меня и на зародыша  
В чьём-то чреве молодом.*



\* \* \*

*Блажен, кто мог  
  не что есть мочи  
Благому следовать совету,  
Но просто радоваться ночи  
И просто радоваться свету.*

*И не страшиться перехода  
В потусторонние начала.  
Блажен тот муж,  
  кого погода  
Ненастная не огорчала.*

*Кто ясен явно был и тайно  
В стеченьи неблагоприятий.  
Блажен и благ,  
  кто не случайно  
Прошёл, как наш счастливый случай.*

\* \* \*

*Как-то, где-то шёл он по ночи  
Как и где — не помнит он.  
И услышал крик о помощи  
С четырёх ли, с трёх сторон.*

*Крик из окон? Грохот мебели?  
Бот ли бился о причал?  
Зверь ли в яме?  
Птица в небе ли?  
Сам ли он в себе кричал?*

*И на крик ответив возгласом:  
— Боже! — сам упал без сил.  
А когда очнулся, в воздухе  
Дождь сквозь солнце моросил.*

*Кто-то пел. Никто не сетовал.  
Луг блестел, и лес — стеной.  
Всё, что было — после этого! —  
Было, истинно, со мной...*



\* \* \*

*Кончатся читатели стиха,  
Но никогда не кончатся поэты:  
Они как первый снег, как первоцветы,  
Их поступь изначальна и легка.*

*Полуулыбка, вздох, два-три штриха –  
И все на всё получены ответы,  
Все в точности исполнены заветы,  
И всё обнажено, как до греха.*

*Лиха беда начало – не лиха! –  
И не беда, пока точны приметы –  
Свежи закаты и светлы рассветы.*

*Пока колдует лозами река,  
И, словно этот шёпот лозняка,  
Легко осуществляются сонеты.*

\* \* \*

*Когда ты голоден и бос  
И ни лаптей, ни корки хлеба –  
Есть крыша розового неба,  
И в небе – выстрелы берёз,  
Когда ты голоден и бос.*

*И этот странный, что пророс  
Сквозь полдень серого гудрона  
Стишок (почти Анакреона),  
Хотя ты голоден и бос.*

*Но в небо – выстрелы берёз,  
И крыша розового неба –  
И хлеб свободы вместо хлеба,  
И слёзы братства вместо слёз,  
Пока ты – голоден и бос...*

### Попытка ромansa

*Я думал, доживу,  
А вот опять не дожил:  
Уходит жизнь — уйдёт! —  
до наступленья дня.*

*Я прежде был горяч,  
Потом неосторожен —  
Не надо, милый друг, оплакивать меня.*

*Я думал, доживу  
Не естеством, так духом,  
Земли живую плоть  
от тления храня.*

*Я так её любил:  
Она мне будет пухом —  
Не надо, милый друг, оплакивать меня.*

*Я так людей любил,  
Что вот, казалось, дожил —  
Восстанет из могил вся грешная родня.  
Порядок чёрных сил  
Был только потревожен —  
Не надо, милый друг, оплакивать меня.*

Олег Гонозов

## За ликом набожным и странным

### *Литературное эссе*

Известный русский писатель Юрий Казаков<sup>1</sup> вошел в отечественную литературу в годы «оттепели». Его удивительные лирические рассказы «Тихое утро», «На полустанке», «Дом над кручей», «Странник» и многие другие поражали точными картинами родной природы, доскональным знанием российской глубинки, узнаваемыми характерами персонажей.

Но Юрий Казаков был не только признанным поэтом родной природы, которого волнуют проблемы счастья, смысла жизни, простого трудового подвига, как писали о нем современники; он был тонким психологом, мастером сюжета, рождавшегося из будничной жизни.

Подтверждением этому можно считать рассказ «Странник». Полтора десятка страниц, а такая философская глубина, узнаваемость и простота изложения, что его хочется читать и перечитывать.

А ведь толчком к рассказу послужило банальное уголовное дело, с которым он познакомился в пору своей студенческой юности в городе Ростове Ярославской области.

«Студентом был я на практике в Ростове, — расскажет Юрий Казаков в интервью журналу<sup>2</sup>. — Можно было поехать

---

<sup>1</sup> 1927–1982.

<sup>2</sup> «Вопросы литературы» № 2, 1979.

куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, что мое дело изучить Россию. И вот мы — в Ростове».

Практикой руководил Ефим Дорош, прекрасный писатель, который в то время работал над «Деревенским дневником» и многие из сделанных им в Ростове наблюдений вошли в книгу.

Древний город, с деревянным железнодорожным вокзалом николаевских времен, впоследствии увековеченном в комедии «Тридцать три», и несколькими однотипными памятниками вождю с указующей в светлое будущее перстом, утопал в зелени и больше напоминал деревню, нежели город.

По улицам важно гуляли коровы, которых пастухи утром собирали в стадо, а вечером разводили по домам.

На предприятиях всю использовался гужевой транспорт. После пронесшегося в августе пятьдесят третьего года над городом смерча продолжалось восстановление ростовского Кремля. С июля пятьдесят шестого года районную газету «Сталинский путь» в духе времени переименовали в «Путь Ленина». Выходила она три раза в неделю тиражом три тысячи триста экземпляров.

«Пошел я в местную газету, — вспоминал Юрий Казаков. — «К чему лежит ваша душа?» — спросили меня там. Я почему-то ответил: «К фельетону». Тогда из газеты меня направили в городской суд, оттуда послали в милицию, где можно было взять на выбор — убийство, грабительство, поджог. Но это же для фельетона не тема...

И вот попало мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой, а бородатые экземпляры тогда еще редко встречались в России, пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился во спасение России. Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник Божий, предоставила ему ночлег.

Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным.

Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал...»

В первый раз Ивана Федорова-Феофанова осудили за квартирную кражу в сорок шестом году, когда ему было восемнадцать лет. Выйдя на волю и немного поработав в колхозе у себя на родине, он поехал в Ленинград, поступил в училище живописи. В пятьдесят первом году обокрал товарища, за что был осужден на десять лет. Через два года Ивана освободили по амнистии и вскоре вновь арестовали. На этот раз за ограбление церкви ему дали восемь лет.

Через год освободили по состоянию здоровья. Но в пятьдесят пятом году снова посадили за ограбление церкви на десять лет. И снова он на свободе по состоянию здоровья.

Приехав в Ростов, Федоров-Феофанов зашел в церковь, стал усердно молиться, неистово крестился, подпевал певчим. Такое поведение странника пришлось по душе местной жительнице Евдокии Алексеевне Хрыковой, которая добродушно пригласила его на ночлег. В доме он тоже молился, пил чай с сухарями, собирался идти в Поречье, к Животворящему Кресту.

Утром, уходя на работу, хозяйка оставила гостя в доме одного. Иван осмотрелся. На половине Хрыковой ничего подходящего не нашлось, перешел в комнату жильцов Павлычевых. Порылся в сундуке, открыл шкаф, надел два костюма, связал в узел остальные вещи и, оставив на память свои священные книги и сухари с луком, вышел из дома. Взял такси и укатил в поселок Борисоглебский. Там он стал продавать краденые вещи и был задержан сотрудниками милиции.

«Ходят по Руси странники, стоят на паперти, ездят на такси, выпивают в ресторанах, молятся, предрекают судьбы человеческие, воруют, юродствуют, а простаки верят им, не подозревая, что странник «Святой Иоанн» и вор-рецидивист Иван Федоров-Феофанов — одно лицо», — заканчивает Юрий Казаков фельетон «Странник», который вышел на страницах «Пути Ленина» в июле пятьдесят шестого года.

«...А когда я вернулся в Москву, то вдруг померещилось мне в фигуре странника нечто большее, чем простой мелкий жулик, — наверное, и какая-то неясная мысль влекла его вдаль. И я написал рассказ», — поделится в интервью Юрий Казаков.



Портрет странника буквально списан с главного героя газетной публикации, в чем убеждаешься, сравнивая тексты фельетона и рассказа.

Фельетон: «Лицо у него было круглое, широкое, с рыжей бородкой. Был он молод, борода не старила его. Одет в рваное зимнее пальто, резиновые сапоги, шапку-ушанку. Одного глаза у него не было, оставшимся смотрел на людей с пронизательной насмешливостью».

Рассказ: «Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто — все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало».

Собранный в фельетоне материал был настолько фактурным, что Юрий Казаков мастерски использует его в рассказе.

Читаем фельетон: «Видели его в Киево-Печорской Лавре и в Эстонии — в маленьком городе с красивым названием Ихви. Бывал в Гомеле и Пскове, в Витебске, Москве и Ленинграде».

А вот как рассказывает об этом герой рассказа: «А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаянием кормился, во святой Киево-Печерской Лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевой побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, — ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты...»

В фельетоне: «Спал на воле. Впрочем, нередко находил ночлег у сострадательных людей. Приходил, внимательно осматривался, сурово спрашивал:

— Была в сем доме смерть?

— Была... — печально отвечали ему.

— Имя! — он записывал имя в тетрадку с заголовком «Поминальница странника Иоанна», с большим крестом на обложке и обещал:

— Буду молиться!»

В рассказе: «Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

— Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

— Была, — негромко сказала она. — По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал пере-езжать...

— Имя! — сурово остановил ее странник.

— Чего? — не поняла она.

— Имя, имя! Сына имя, — раздраженно прикрикнул он на нее.

— Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ез-дий, не погниют твои товары — части какие-то для МТС вез — стороной объезжай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не по-слушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то — утоп...

— Буду молиться! — перебил ее Иоанн, выписывая в тетра-ди крупно: Федор...»

В рассказе Юрий Казаков показал своего странника глуб-же и ярче, чем в жизни, хоть и духовным паразитом, но без уго-ловного прошлого:

«Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шап-ку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо погля-дел ей в лицо.

— Здравствуй, мать! Храни тебя Господь, — сказал он глухо и важно.

— И вы здравствуйте, — помедлив, отозвалась она, поправи-ла платок, облизала сухие губы.

— Здешняя?

— Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

— Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник по-шел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность».

Коллизия рассказа в том, что оставшись у сердобольной женщины на ночлег, посещающий святые места странник, сразу положил глаз на молодую вдову Любу, живущую после смерти мужа в доме свекрови.

Когда сели ужинать, он поднимая воспаленные глаза от та-релки, каждый раз взглядывал на нее. «Была она красива неяр-

кой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки — угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь... Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове».

Но взаимной симпатии не получилось. Присматриваясь к страннику, Люба сдерживала смех. А потом все же не удержалась, спросила Иоанна: «Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!»

Страннику это было не по душе. Он пытался сломать девушку своей набожностью: «Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю — хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книга-то! — Он похлопал рукой по котомке. — Этого в техниках да в институтах ваших нету... Нету!

И не надо... — ответила Люба».

На широкой деревянной кровати, куда уложила странника богомольная Настасья, ему не спалось, он ворочался, томясь от сильного желания, думал о Любе. И плотское взяло верх над духовным, над его верой, набожностью.

«Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нащупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

— Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

— Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! — невнятно сказала Люба и, выравшись, села, зажав рубашку в коленях.

— погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... — зашептал он. — Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрую,

в колхозе буду работать... В баню схожу, — добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. — Иди ко мне, приласкаю...

— Мама! — крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. — Отойдешь ты от меня, черт поганый? — старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

— Я тебя любить буду! — тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. — Я здоровый, молодой, сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

— Мама! — опять крикнула Люба. — Да что же это!

В избе послышался шорох.

— Тише ты! — шикнул на нее странник. — Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...»

От обиды и разочарования на глазах у него выступили слезы. Утром он снова отправился в путь. Его звала дорога, на душе было снова легко и радостно.

«И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывала его сердце. Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне».

«Если же говорить о значении дороги, странничества, то для писателя нет ничего лучше, — заметит в интервью Юрий Казаков. — Масса новых впечатлений, глядишь на все жадно, запоминаешь ярко, характеры встречаются такие, что хоть сейчас в рассказ!»

Плодотворно прошла практика студента Литинститута Юрия Казакова на древней Ростовской земле: помимо фельетона «Странник» подшивка местной газеты за пятьдесят шестой год хранит еще три его публикации. Это рассказ «На берегу моря», напечатанный на «Литературной странице». Материал о проблемах спортивного отдыха на озере Неро «Чернеет парус одинокий». И еще один фельетон «Купец из Угодичей».

Но только история Федорова-Феофанова запала в душу писателя и стала толчком для написания рассказа.

Иван Переверзин

## «...Бушующих над тундрой гроз»

### Зимнее эхо

*Мороз разбуженным медведем  
идёт по лесу, треск стоит.  
Червлёным серебром на меди  
звезда Полярная горит.*

*Снега сверкают, как алмазы.  
Густа, как ртуть, течёт река.  
В седые дедовские сказы  
туман — окутал берега.*

*Я встану посреди опушки,  
счастливо крикну: о-го-го!  
И даль ответит, как из пушки,  
звенящим эхом глубоко...*

*И, как по щучьему веленью,  
земному голосу в ответ —  
наполнится волшебным пеньем  
и зимний лес, и белый свет.*

### Подснежник

*Мох, песок... Песок и мох.  
Чаща, марь, валежник.  
Снег сошёл, сугроб подсох,  
и расцвёл подснежник.*

*А вокруг-такая глушь!  
Не услышишь звука.  
И ползёт беззвучно уж,  
не шипит — гадюка.*

*Затаился волчий край,  
страшно в чащах этих,  
тут легко погибнуть, знай,  
серебристый цветик!*

*Но пришла пора цвести,  
наступили — сроки  
состояться вне пути,  
вне большой дороги.*

*Как ни ликовало зло  
и — зимой, и — летом,  
сколько судеб расцвело,  
как подснежник этот.*

*В глубине, в углах глухих,  
без поклона — силе,  
на подснежниках таких  
в рост стоит Россия.*

*Наступает Новый год,  
весь в снегу валежник,  
а подснежник всё цветёт,  
всё цветёт — подснежник.*

\* \* \*

*Туманный, серый небосвод,  
косые, пепельные — тучи,  
иззубренный морозом лёд,  
и снег шершавый и колючий.*

*И на прохожих — лаек лай,  
остервенелый, чтоб согреться.  
И это всё — тот древний край,  
таящийся в пещере сердца.*

\* \* \*

*Каждый вечер добавляет снега  
в шапки мономаховые гнёзд.  
Дымом пахнет в наледи ночлега  
чешуя, летящая от звёзд...*

*До краёв засытаны озёра,  
выровнены с речкой берега,  
письменами снежного узора  
с человеком делится тайга.*

*В поздний час ни жгучие метели,  
ни седые стужи не страшны, —  
спит душа в еловой колыбели,  
снятся ей берёзовые сны...*

### Ленская зима

*Вот она, закалка Божья —  
наша ленская зима:  
хиусом сдирает кожу,  
стужею трясёт дома...*

*От дыханья — пар клубами,  
от шагов — воздушный хруст.  
И, обглоданный ветрами,  
тальниковый зябнет куст.*

*На бровях колючий иней,  
на душе дымится лёд...  
И над нами в небе синем  
солнце белое встаёт.*

### Путь на север

*Настанет день, — и мы — уедем  
на дольний север, где в лесу —  
малиной кормятся медведи  
и пьют тетерева — росу.*

*Иде в небесах, открытых взгляду,  
встаёт над сопками закат  
и ясным пламенем распадок  
до вечной мерзлоты объят..*

*Иде Лена катит от истока  
сквозь всей отчизны ширину  
без сна, без отдыха, без срока  
к торосам Арктики волну.*

*Иде ничего не позабудешь,  
что хоть однажды увидал:  
как зверя бьёшь, как рыбу удишь,  
кого — любил и целовал.*

*Морозы — долгие и злые  
придут задолго — до зимы...  
О, путь на север, дни былые,  
где сердцем в сердце вмёрзли мы!*



\* \* \*

*Спят-дремлют избы у пруда.  
Листвою — опадают клёны...  
Горит — полночная звезда,  
свет проливая на суслоны.*

*Луна — ущербная — стоит  
над тополиным косогором.  
Петух спросонья закричит,  
как оглашённый, за забором...*

*Земля отцов! Я — твой поэт...  
Но не мои поёшь ты песни.  
Зато, как пахарь прошлых лет, —  
сельчанам я давно известен.*

*И в поле, чем я жил спеша,  
на озере, в котором плавал,  
как будто в юности, душа  
звенит-поёт себе на славу...*

*Хоть город — и ломал её  
упрямой спесью и гордыней,  
она хранит во мне — своё  
начало жизни — и поныне.*

*Спят-дремлют избы у пруда.  
Листвою — опадают клёны.  
И над селом горит звезда,  
горит бессонно и влюблённо.*

**Вернусь...**

*О том, что жизнь — ушла,  
как тишина — в оконце,  
звонят — колокола,  
отлитые из солнца...*

*Звенит еловый лес,  
звенят в разливе реки,  
и — синева небес —  
об этом же — навеки.*

*Нахмурюсь, загрущу,  
но горько не заплачу.  
С души сполна спрошу  
за боль и неудачу.*

*Но знаю наизусть,  
что я однажды с Неба  
к своим полям вернусь —  
стихом, травой и хлебом...*

\* \* \*

*Ах, как светит звезда молодая!  
Ах, как воздух прозрачен и чист!  
Словно весть о тебе, дорогая,  
губ коснулся рябиновый лист.*

*Я иду пожелтевшей долиной  
и смотрю в загрустившую даль,  
слышу оклик небес журавлиный —  
неземную — родную — печаль.*

*Ах, земля, бесконечная в малом!  
Каждый лист облетевший храня,  
ты цветочным своим одеялом  
в час урочный — укроешь меня.*

### Русский север

*Эти земли тоже — мать-Россия,  
это тоже — русские снега.  
Здесь краса, богатство и стихия —  
птичья да звериная тайга.*

*Города и люди смуглолицы,  
с кожей от морозов — что кирза,  
но зато с душою — стерха-птицы,  
рвущейся от сказов в небеса.*

*«Олонхо» — те сказы называют...  
Как святое «Слово о полку...»,  
мне они жизнь чудом наполняют,  
хоть я родом вовсе не якут.*

*И звенит синица над зимовьем,  
и зарёй освечен лик земли.  
И навеки чистой любовью —  
к Северу живут — стихи мои...*

### Милость зимы

*Посеребрил — газоны — иней,  
дорожки — в панцире-ледке.  
Сапожки выбрав постаринней,  
зима явилась — налегке...*

*Хрустят, поют, сверкают льдышки,  
синичью ноту ловит слух,  
и в синеве на телевышке  
висит заоблачный треух...*

*Поклон зиме за эту милость,  
за тихий снег в начале дня  
и ту надежду, что явилась  
с небесным светом для меня.*

\* \* \*

*Весна, весна! Холмы и веси,  
капельей звон, прилёт синиц,  
и в ясном, чистом поднебесье  
синь золотая — без границ...*

*Труд на полях... Зелёной свечкой  
под тёплым солнцем зелены.  
Ручей серебряной уздечкой  
взнуздал — крылатого — коня!*

\* \* \*

*Цветёт багульник, соки по корням  
стремятся кверху — почки набухают.  
По самым дальним в чаще уголкам  
свой терпкий запах хвои расточают.*

*Стоишь безвольно, жадно дышишь им —  
и утоляешь трудных дней печали.  
И — времени тяжёлый, горький дым  
плывёт и исчезает — за плечами.*

*Высоко крикнешь — крик твой полетит,  
но — вскоре эхом возвратится, тая.  
И вновь слышать, как в роще верещит  
пичуг рассветных — солнечная стая.*

### **Поздняя осень**

*Словно маленькие солнца,  
листья падают в луга,  
небо пасмурное сонно  
хмурит брови-облака.*

*Позабыв все сказки ветра,  
травы в росах полегли,  
о прощаньи с ясным летом  
песнь курлычут журавли.*

*Стекленеет гладь речная  
в заводях — у берегов.  
Осень поздняя, лесная, —  
юных лет моих любовь.*

### **Заполярье**

*Там лишь осока да кустарник,  
ползущие по скалам вверх...  
Кружит-парит тете ревятник,  
на лапах — лисья кровь и мех.*

*Ни — зимовья, ни — человека  
на сотни лет и тыщи вёрст.  
И — ухаает, как филин, эхо  
бушующих над тундрой гроз.*

## Ава

Проводив приятеля к ночному московскому поезду, я вышел на привокзальную площадь, где запарковал автомобиль. Открывая дверь, мне почудилось, что у ног промелькнула тень. Показалось — подумал я, сел за руль и включил зажигание.

Да нет, как же показалось? Я ведь почувствовал легкое касание. Летний вечер был тихим, даже душным, никакого движения воздуха.

Не заглушая двигатель, я вышел из машины. Согнувшись в три погибели, заглянул под сидение. В правом дальнем углу светились два желто-зеленых зрачка. Не мигая, они пристально смотрели на меня. Собака — решил я, кошки так себя не ведут.

Обогнув машину, открыл заднюю дверь, желая изгнать непрошеного гостя. Но там никого не оказалось. Пришлось опять согнуться. Два светящихся зрачка теперь сверлили меня из-под рулевого управления. Стало понятно, что игра может продолжаться бесконечно.

Я тронулся в путь. Чтобы попасть домой, нужно было пересечь практически весь город. Дома возьму швабру и изгоню бездомную дворняжку, говорил я себе.

Приехав во двор своего дома, и не успев еще полностью открыть дверь, как собака стремительно вылетела из машины и стала вокруг нее описывать круги. А когда я вышел, она, ускоряя бег, начала кружить вокруг меня, держась все же на безопасном расстоянии.

Не зная почему, я протянул к ней руки. Без подготовки, с бегу маленькое мохнатое существо взлетело ко мне на руки. Инстинктивно я прижал ее к себе. Она заискивающе смотрела мне в глаза и внятно говорила: я выбрала тебя из множества других человеков, не гони меня. Да, я услышал ее.

Мы поднялись лифтом на этаж и я позвонил в дверь. Открыла дверь жена. Не сказав ни слова, прошла в ванную комнату, открыла краны. Мы долго стирали собачонку, трижды меняя воду. Она то тьякала — ав, ав!, то сладострастно скулила. Ей явно нравилась водная процедура.

Мой восьмилетний сын назвал ее Авой. Это имя закрепилось за ней навсегда. Когда Ава, запеленутая в мягкие тряпки, подсохла, дворняжку узнать было невозможно. Рыжая, длинношерстная, с пушистым хвостом, лопухая, с длинным лисьим носом, живыми умными глазами — она была очаровательна как все любящие и любимые существа.

По утрам как обычно завтракали всей семьей. Ава от меня не отходила. Подняв кверху голову, непрестанно подметая пол мягким хвостом, она влюбленно смотрела на меня, улавливая мое малейшее движение. Затем я уезжал в мастерскую. Это моя жена и сын выгуливали ее, кормили, вычесывали, баловали.

Но любила она меня. Жена узнавала, что я в дороге домой от Авы. Она рассказывала, что в какой-то момент прекращая все игры, Ава шла к входной двери. Распластавшись ковриком, прижав морду к полу, затихала, переставая реагировать на нее и на сына. Даже не принимала угощения. Она знала своим тайным собачьим знанием, когда я выхожу из мастерской в нескольких километрах от дома.

Когда я въезжал на своем «Жигуленке» во двор, с Авой происходило невероятное. Она со звонким лаем бросалась на дверь, затем стремительно, скользя по паркету, бегала по квартире, лаем сообщая, что я уже приехал — а вы сидите здесь как ни в чем не бывало.

Вновь устремлялась к двери в восторженной эйфории и нетерпении. В большом нашем дворе двух шестиэтажных корпусов было немало других машин. Ава безусловно не

могла слышать и опознать мою. Но она никогда не ошибалась.

Когда я открывал дверь, ее экстаз достигал апогея. Откуда у этого малорослого зверька такая прыть? Она приседала, и оттолкнувшись от пола, взлетала до моего лица в попытке поцеловать в нос, бороду, щеку — куда достанет.

Мы подали документы на отъезд в эмиграцию. Ава! Как быть с собакой? Уезжая в неизвестность, взять ее с собой казалось невозможным. Это переживание не оставляло нас. Она уже была частью нашей семьи. Бесконечно преданным, любящим и любимым существом.

Раз в неделю к нам приходила молочница. Она приезжала из деревни в нескольких километрах от Минска. Мы поведели ей нашу заботу.

— Прывазіце яе ка мне у вёску. У нас есць одна собака. Будзе дзве. Ни якой праблемы няма.

И наступил день. Всей семьей мы тронулись в тяжелую дорогу. Ехали молча.

Когда приехали на место, Ава не вышла из машины. Это было ошеломительно. Мы ведь часто выезжали за город. Ава первая в нетерпении вылетала из машины и с торжествующим лаем неслась по полянам, временами внезапно замирала, втыкаясь носом в траву, учуяв некий только ей ведомый запах, затем вновь устремлялась вдаль, возвращалась и снова описывала круги, радуясь природе, щебету птиц, стрекотанию кузнечиков.

Пыталась безуспешно поймать стрекозу или внезапно вылетевшую из высокой травы пичужку. Упивалась вольностью, простором, свободой.

Ава не только не выпрыгнула из машины, но и не вышла на мой призыв. Заглянул под сидение. На меня смотрели глаза, с которыми я встретился впервые в тот памятный вечер на привокзальной площади...

Я взял ее на руки и опустил на землю. Не подняв головы, Ава медленно побрела к хате. Вошла в чужие запахи, забилась под низкий топчан. Скажите, человеки, каким образом это су-



АВА

щество узнало о замышляемом предательстве. О его неизбежности. На все наши призывы не вышла попрощаться. И мы уехали. Уехали далеко и навсегда.

Прошло более тридцати лет. Вспоминая Аву, осознаю, что совершил самое тяжелое предательство в жизни.

Милая, дорогая Ава, прости меня. Конечно же, ты простила, и ждешь меня, распластавшись ковриком у порога небытия. Ты ждешь меня. И дождешься обязательно.

И мы будем с тобой гулять по млечным дорожкам Вселенной. И ты восторженно будешь бежать впереди, безуспешно пытаясь поймать мне в подарок падающую звезду.

А я буду следовать за тобой в радости вечной жизни.

Дарья Ульба

## Парящая

Многоэтажные ульевые коробки, выстроенные во времена девяностых; наша коробка двухкомнатная, на девятом этаже.

Мы собирались целый месяц. Упаковывали все на свете: чайный сервиз, протертые тапки, свитера, не подлежащие починке, новые книги, одеяла и детские пеленки, много всего ненужного и отжившего. Я бережно складывала в стопки все эти вещи, придавая им сакральный смысл своей серьезностью, с которой запикивала их потом в мусорные пакеты: туда входило много, а на все вещи сумок не напасешься.

Но вещи все равно смешивались друг с другом...

Как раз выпал снег и лежал уже неделю. Снег белил улицы и серые дома, и наш в том числе. Наш дом кирпичный, желтушный и поблекший, за свои несколько лет глубоко осевший в землю и почерневший, черноземный.

Освобожденные полки для белья я протираю тряпкой, заранее добавив хлорку в ведро с водой. От этого в комнате пахло, как в больнице: свежестью и медикаментами. Весь этот акт проходил тоже в полной сосредоточенности.

Мне как будто хотелось вылечить эти пустые комнаты, выкурить наше присутствие, забрать его с собой. Я тянула с собой все! Как будто эти побрякушки могли заполнить другие пустые комнаты в другом нашем пустом доме.

Когда закончила уборку, то сразу открыла окно. В комнату ввалился первый мороз, самый первый, от него прошла небольшая дрожь по телу.

Стояла, облокотившись на узкий подоконник, немного переваливаясь через него. Видела все эти дома и огни, и машины. Слышала крики детей, катающихся с горки во дворе, и лай собак. Все это, — вместе с цветом и звуком, — отражалось в моем зрачке! В этой узкой стеклянной щели помещался мир, и я тоже была его частью...

Улица под названием Холмы. Наш новый дом, синий, с белыми полосами, как матроска. Этаж шестой. Просторные комнаты, стены с потемневшими картинами и толстый стеллаж из красного дерева, забитый книгами в потрепанных переплетах, а иногда без них. Стопки журналов по художественной фотографии. Можно было подумать, что здесь жил фотограф или художник.

Но при конце семидесятых сюда поселился энквэдэшник, он занимался людьми, точнее их именами, он вбивал в голые листы столбики имен, всех этих «врагов народа», «предателей», «выродков» и прочей «швали». Собирал имена, как эти свои стопки художественной фотографии возле толстого стеллажа.

Мы въехали, втиснулись со всеми своими пакетами из-под мусора. Приготовили к ужину совсем простую, грубую пищу: вареная картошка, перед тем как опустить ее в воду вся истыканная моим ножом, чтобы выковырять черные пятна, — старая, как говорят. А старая, быстро разваривается и становится как каша. Селедка в масле из пластиковых коробок, хлеб и дешевый портвейн.

Я смотрела в новое окно.

Смотрела в него еще следующих два года! За дверью кричал ребенок, мне казалось удивительным, что там может быть ребенок, что этот ребенок может быть мой. Потом была елка — много еды, салат из фасоли, винегрет, корейская морковка, оливье, еще какая-то еда. Концерты каких-то людей, совсем ненужных, как те наши вещи, которые я запиховала в мусорные пакеты и таскала с собой.

Есть такое поверье: как новый год проведешь, так и пойдешь к следующему.

Я стояла в ванной напротив зеркала, зеркало повторяло форму двери, оно было прилеплено или прибито к ней, а, мо-

жет, — привинчено. Стояла в черном кружевном платье до колен, оно повторяло мои формы. Волосы отросли за два года и касались копчика. Смотрела себе в глаза и стояла бездвижно.

За дверью был праздник, или скорей, подобие праздника. Я продолжала стоять бездвижно. Бились в висок мысли и самые последние воспоминания, мужской голос, срывающийся на крик с каким-то двойным криком, точнее с криком в крике: «я ненавижу тебя, уродка! ненавижу тебя!»

Стояла перед зеркалом и теперь видела: щека касалась стены, а от щеки протянулась бесконечная перспектива рисунков на обоях, отваливающихся постепенно.

Потом был плач ребенка и много крови.

Я никогда не видела столько крови. Никого рядом не было и никто этого не видел, но это была «Гибель Помпеи».

Мама постучалась в ванную, а я все стояла перед зеркалом недвижно, в черном кружевном платье, с волосами до копчика.

Все было хорошо, все было как всегда, как у всех, только я по вечерам продолжала стоять недвижно перед зеркалом и смотреть на себя.

Новые комнаты становятся своими, потом будут следующие комнаты, и они тоже станут своими — покорение пространства, мусорные пакеты с вещами. Уже без детской кровати.

Измена в тебе или измена тебе? Я смотрела в зеркало, новое зеркало в новой комнате. За дверью не было детей, картошки и селедки с дешевым портвейном. Ванная была в синей краске, мне казалось, что меня накрыло волной. Я почувствовала охлаждение.

Тем последним вечером я была неверной, впервые неверной, мы пили виски и таяли во рту горячие венские вафли с медом. На мне было длинная юбка аля геометрия и красные губы. А он был в желтой рубашке и тяжело дышал.

Когда наутро я шла по Чистым прудам, мне казалось, что моя жизнь ночью, как душа, ушла в пятки, но сейчас она еще не стерлась: как жвачка, прилипшая к подошве, еще дает о себе знать.

Шла и отражалась в витринах дорогущих бутиков, но мне не хотелось этих вещей. У меня уже не было ничего. Я шла,

расстегнув пальто до последней пуговицы, рубашка накалилась от холода и стегала меня, прикасаясь.

Ясно было одно: нет никаких комнат, которые можно заполнить вещами из-под мусорных пакетов или из сумок, нельзя заполнить их книгами, фотографиями. Не слышу криков младенца, нет кровати, нет книг, нет пакетов. Есть Чистые пруды и мое пальто нараспашку, стриженные волосы и какая-то река, множество рек.

Нужно только чуть-чуть взлететь, чтобы увидеть русло. Нужно сделать такую попытку, например, как курицы. Но лучше как те, смертно парящие птицы, что совершают перелеты близ вершины Эвереста, поднимаясь над самой лестницей, ведущей к Создателю.

Можно обстричься, можно идти в пальто нараспашку. Можно дышать и идти. Можно увидеть реку, по которой плывешь, и ты будешь пить воду из этой реки и видеть это, ты будешь так делать, — иначе умрешь от жажды...

Какой рекой плыть, ту и воду пить.

## В центре комнаты на ковре

За столом я совсем не сижу, чаще стою несколько минут, повернув голову в сторону стены, где висит политическая карта мира, загнутая с углов и пожелтевшая.

Иногда я облакачиваюсь на него, слегка присаживаясь. Тогда я скрещиваю руки на груди и смотрю в окно. Оно без тюля. Представляю себе глаз без сонной пелены, ясный, как у только что умывшегося родниковой водой человека, родниковая вода всегда морозная. Люблю окна без тюля и штор. Шторы — шторы. Из этого окна видна улица, с асфальтированной дорогой, с мандариновыми фонарями и футбольным полем, сейчас белым, летом зеленым.

Есть еще одно окно, тоже без штор и тюля — четыре квадрата вверх, пять квадратов вдоль стены. Окно в черной деревянной оправе, из него видна Итака, Адриатическое море, Гималайский хребет, видно Манделыштама с томиком Гомера, Пастернака, Бродского в новом пальто возле церкви Сан-

та Мария де Салюта, Платона и его мальчиков. В этом окне можно увидеть все от шумерских поэм до стихов современного “Воздуха” под редакцией Кузьмина.

Иногда, стоя облокотившись о стол, я думаю об этих окнах. Думаю, какое из них более реальное. Думаю, что за живительные органы внутри их организма, в их брюшине, какие кровотоки в них бродят. Ищу сходства, ищу компромисс. Думаю, что в них печень, что чистит кровь, а что является рецепторами.

К матрасу, где сплю, я не подхожу днем. Не подхожу к нему. Я не люблю лежать. Матрас широкий, толщиной сантиметров в десять-пятнадцать, не слишком мягкий и не слишком твердый. На нем есть какие-то розовые узоры в виде цветов, мне они совсем не нравятся, они блеклые, невыразительные.

Над моей головой на иглы подвешена “Утренняя заря” Николая Рериха. Это плакат, такие продают в музейных магазинчиках, киосках и ларьках.

Эту зарю я купила в театре Оперы и балета. В антракте спектакля “Лебединое озеро”, когда все куда-то идут, я остановилась возле ларька с Рерихом, там больше не было никаких других ларьков. На картине горы, одна макушка в белой шапке, какие-то развалины в тени у подножья. Я взяла этот плакат, прикрепила его потом в комнате, над матрасом.

Теперь просыпаюсь и засыпаю в горах. Передо мной окно, сбоку слева еще одно окно, с мандариновыми фонарями и футбольным полем, а справа дверь, возле шкафа, где висят мои тряпки, их немного. Моя комната, оказывается, насквозь дырявая.

Еще удивительней то, что мне это как будто нравится: мне нравится пролетаемость, сквозняковость.

Я совсем не пью. Даже кофе для меня неожиданность. Пью чай. Вот сяду на ковер, подаренный мне отцом, поставлю на него пиалу и чайник, и пью чай. Совсем не боюсь, что из-за комнатной дырявости меня просквозит.

Все. Больше ничего нет. Есть стол, книжный шкаф, шкаф с одеждой, окно, матрас и Рериховская заря.

Я сижу на ковре в центре комнаты и пью чай.

Наталья Менчинская

**«Похоже на то, что надо запомнить  
эту фамилию...»**

Думаю, на всем пространстве бывшего Советского Союза, да и за его пределами, — в Израиле или в Америке, где много наших соотечественников, — теперь не осталось человека, знающего имя писателя и драматурга Дмитрия Урина и читавшего его произведения. А ведь начало его литературной деятельности, пришедшееся на двадцатые годы прошлого века, было блестящим и многообещающим.

Ему было всего шестнадцать лет, когда он начал работать в киевских газетах как репортер. В семнадцать он уже написал несколько талантливых рассказов. В девятнадцать — получил широкую известность, когда в Ленинграде была напечатана его повесть «Шпана». В двадцать с небольшим он написал пьесу «Разрушение», которая с успехом шла на сцене Киевского драматического театра.

Дмитрия Урина высоко оценивал Исаак Бабель, он печатался в московских журналах, ему заказывали пьесы МХАТ и театр им. Вахтангова... Но в двадцать восемь лет он умер от неизлечимой сердечной болезни и был забыт всеми, кроме горстки своих друзей, которых теперь тоже давно нет в живых...

Мой отец, Юлий Адольфович Бер, был одним из них. Он знал Митю Урина со времен своей студенческой молодости, которая прошла в Киеве.

Для Юлия Бера эти годы были счастливыми. В Киеве, как и по всей стране, в начале и середине двадцатых годов еще су-

ществовали компании творческой молодежи. Юлий входил в компанию «Чипистан», что расшифровывалось как «чижий-пыжий стан». Компания объединяла молодежь, увлеченную литературой, поэзией, музыкой, театром.

Среди них был известный впоследствии киевский поэт Исаак Золотаревский, будущий композитор Евгений Жарковский, будущий писатель Рафаил Скоморовский, бывал в компании Алексей Каплер.

Митя Урин — писатель, журналист, драматург, человек необычайно одаренный, остроумный и обаятельный — был гордостью компании.

Помню, отца мучило, что никто из друзей Дмитрия Урина, свидетелей необычайно раннего и яркого, но короткого расцвета его творчества, ничего не сделал для его памяти, несмотря на то, что тот оставил своего рода духовное завещание.

Отец был историком, архивистом. Вскоре после его кончины в сентябре девяностого года я пыталась разобрать бумаги, оставленные им в страшном беспорядке, и обнаружила отдельную папку с материалами, касающимися Мити Урина. Времена тогда были трудные, в стране все рушилось, приходилось думать лишь о том, как выжить, поэтому я отложила эту папку «в долгий ящик», почти забыв о ее существовании.

Вновь я вспомнила о ней при очередной попытке разобрать архив отца в две тысячи пятом году. На этот раз я отнеслась к содержимому папки более внимательно и обнаружила духовное завещание Мити Урина.

Написанное красными чернилами на плотном листе бумаги, оно было вложено в маленький самодельный конверт с надписью: «Этот конверт прошу вскрыть через день после моей смерти. Дм. Урин».

С трепетом открыв конверт, я прочла следующее:

*«Город Киев, 19 апреля 1934 года*

### **Завещание**

*Ввиду того, что за последнее время участились мои сердечные припадки, и участилось вместе с ними отношение мое к смерти, как к явлению, уже коснувшемуся меня, я нахожу в се-*



«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

*бе достаточно сил и спокойствия для того, чтобы просить выполнить после моей смерти следующее:*

*Собрать все мои сочинения, как напечатанные, так и ненапечатанные, и запаковать их в конверт № 1.*

*Все ненапечатанные вещи постараться напечатать, а пьесы постараться поставить.*

*Ввиду того, что я всю жизнь прятал все получаемые мной письма, афиши, записки и так далее — прошу, собрав их — это очень легко и просто, запаковать их в пакет № 2.*

*Пакеты № 1 и № 2 передать какой-нибудь организации, где они могли бы храниться до тех пор, пока кому-нибудь не станет интересно их содержимое с точки зрения исторической.*

*Клянусь, что я просил бы о том же, не будь я писателем! Я рос, формировался, влюблялся, ездил по городам в эпоху, отмеченную великими событиями. Не может быть, чтобы тени этих событий, их отзвуки, так или иначе не отразились на этих бумажках. А если где и не отразилось, так ведь и это интересно.*

*Впервые я целовался в Екатеринославе в девятнадцатом году на трамвайной скамейке. В пяти шагах от нас лежал труп подметками к нам. Во множестве бумажек будущий сочинитель исторического романа найдет поцелуи под датами значительными, как труп. Ему это будет полезно, чтоб выяснить, что события никого из нас не лишали молодости, как можно подумать, читая схематичные наши печатные материалы. Ощущая разверзшуюся прекрасную ясность мира, мы жили запутанно и вкусно.*

*Чтоб собрать эти пакеты и передать их в приличное место, чтоб напечатать все возможное из оставшихся рукописей, я, так сказать, назначаю комиссию близких мне людей — или людей, ранее находившихся в этом звании. (Я назначаю, а кто откажется — тому веселее жить без чужих забот, а если все откажутся... в это не верю).*

*В Киеве: Френкель Лазарь Самойлович — режиссер; Шварцман Моисей Осипович — юрист; Скоморовский Рафаил Соломонович — писатель; Алей (Шмуkler) Федор Семенович; моя жена (Урина Суламифь Моисеевна. — Н. М.).*

*В Москве: Черняк Яков Захарович — критик-исследователь; Урин Давид Исаакович — мой брат; Бер Юлий Адольфович — журналист, историк.*

*В Ленинграде: моя сестра — Мария Исааковна Покрас; Кучеров Анатолий Яковлевич — писатель.*

*Председательствовать прошу Рафу Скоморовского. Если обойдешься с меньшими «массами» — валяй!*

*Все мои деньги, вещи, возможные авторские и прочие доходы завещаю жене моей и сестре, Марии Исааковне Покрас, пополам с тем, чтобы они обеспечили мою просьбу, изложенную выше.*

*Всех целую!*

*Стройте социализм, вытргивайте из личных масштабов! Не поминайте лихом.*

*Дм. Урин».*

Помимо завещания, в папке были: воспоминания моего отца о Дмитрие Урине, написанные в семидесятые годы; список произведений Дмитрия и биографическая справка, составленные отцом; пять тоненьких книжечек с изданными произведениями Урина; две фотографии; неоконченная рукопись какой-то повести; письмо на бланке МХАТа с предложением написать пьесу.

Изучив эти материалы, я сделала для себя открытие: Дмитрий Урин был писателем большого и своеобразного дарования. Его рассказы, в которых острая наблюдательность исследователя, препарирующего реальность, сочетается с отстраненным взглядом мудреца и провидца, смешное соседствует с трагическим, а злободневное обретает вневременные черты, показались мне удивительными и очень современными.

Проживи он дольше — возможно, встал бы в один ряд с Бабелем, Олешей, Булгаковым, Платоновым.

Поняла, что мой отец не напрасно ценил его столь высоко.

Он, правда, называл Урина «комсомольским писателем», возможно рассчитывая, что такой идеологический «ярлык» поможет добиться публикации его произведений.

Думаю, нельзя согласиться с таким определением. Комсомольцы, как и другие типы того времени, встречаются на страницах его книг, но без всякого романтического ореола: «Шпана», «Разрушение» — это о них.

С большой степенью вероятности можно предположить — если бы Дмитрий Урин не умер в то время, он вряд ли пережил бы времена террора.

Я почувствовала, что должна осуществить то, что не удалось моему отцу — открыть моим современникам имя Дмитрия Урина, писателя, рано ушедшего из жизни, но успевшего по-своему, под непривычным углом зрения, отразить события двадцатых годов, свидетелем и участником которых был.

Но прежде всего мне хотелось понять, что за человек был Дмитрий Урин. Что привело его в литературу? Как он приобрел свой ранний опыт, позволивший ему в юном возрасте писать такие зрелые и своеобразные вещи? Что еще им написано, кроме того, что вошло в пять тоненьких книжек, найденных мной в папином архиве?

Кое-что о Дмитрие Урине можно узнать из воспоминаний моего отца, которые привожу в небольшом сокращении.

«Он очень рано вошел в литературу. Его первые фельетоны в газетах, главным образом киевских, были напечатаны, когда ему не исполнилось и восемнадцати лет. А через десять лет, в декабре тридцать четвертого года он умер. Но за эти десять лет Дмитрий Урин стал довольно известным писателем.

Двадцатилетним юношей он прославился на всю страну, когда в издательстве «Прибой» вышла его повесть «Шпана». Он писал произведения в разных жанрах: газетные фельетоны и детские книжки, рассказы и повести, стихи и пьесы. Все они были посвящены современной жизни. В них нашли отражение и события Гражданской войны на Украине, и послевоенная жизнь двадцатых, тридцатых годов, но больше всего его интересовал человек во всех проявлениях.

Познакомился я с ним случайно, на собрании киевского литературного кружка «Вагранка», которым он руководил. Было это зимой двадцать четвертого, двадцать пятого годов.

Меня поразила глубина понимания им внутреннего мира юных писателей. Каждое из написанных ими произведений он обсуждал так заинтересованно, словно сам участвовал в его создании. При этом он никогда не демонстрировал своего превосходства, был прост и доступен.

Мы подружились. Виделись часто, почти ежедневно. Я тогда был студентом исторического факультета Киевского университета.

Благодаря Урину я познакомился с некоторыми крупными писателями и литературными деятелями. Так однажды я застал у него Бабеля. Урин читал ему свои рассказы, в частности, «Две подковы». При мне у них зашел разговор о рассказе «Клавдия». Бабель уже знал Дмитрия по повести «Шпана» и его рассказам.

Впоследствии, работая как историк-исследователь в архиве ЦГАЛИ, я нашел письмо Исаака Бабеля к Вячеславу Полонскому из Киева. Бабель писал:

«Дорогой Вячеслав Павлович! Приехал только вчера, и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня) обратиться к Вам: похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском <...>

Любящий Вас И. Бабель».

Урин считал Бабеля своим «литературным отцом».

Встречал я у Дмитрия Урина и Марголина, который, как мне помнится, был тогда заведующим литературной частью театра им. Вахтангова.

У них шел разговор о новой пьесе, которую Урин писал по заказу этого театра. Кажется, она называлась «Союз матерей» и была посвящена взаимоотношению разных поколений. Вновь я услышал об этой пьесе позже, в тридцать четвертом году, когда Дмитрий лежал в московской больнице. Он просил меня сходить к Б. Е. Захаве, который в то время был одним из руководителей театра Вахтангова, и узнать о судьбе пьесы — он ее переделывал по просьбе театра.

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

Захава сказал мне, что пьеса эта стоит на очереди, театр еще не приступил к ее постановке, но намеревается это сделать в ближайшем будущем.

В начале тридцатых годов, в Москве, мы бывали вместе с Дмитрием у известного литературоведа Якова Черняка. Там было интересно: обсуждались литературные проблемы, Урин читал свои новые вещи. Черняк рассказывал о своем исследовании «Спор об Огаревском наследстве», которое в это время готовил к печати. К этому времени Урин стал печататься в московских журналах, в частности, в журнале «Красная новь». Через него я познакомился с писателями Финном и Львом Славиним. К Дмитрию, несмотря на его молодость, все относились по-дружески, с большим уважением, чувствуя в нем равного, а не начинающего писателя.

Митя был очень добрым и чистым человеком. Людей привлекал его ум — он многое понимал и мог объяснить — из-за этого он казался иногда взрослее и серьезнее нас, хотя был моложе по возрасту. Но он никогда не превращался в «молодого старика», он охотно дурачился, сочинял шуточные стихи, принимал участие во всех затеях и розыгрышах нашей киевской компании.

У него была врожденная болезнь сердца. Приступы становились все чаще. Впоследствии я понял — он знал, что жить ему осталось недолго. Его чудесные серые глаза, которые всегда с большим интересом, вниманием, веселостью смотрели на мир, на людей, становились все грустнее. Последний раз я видел его в Кремлевской больнице за день до его смерти. В своем последнем стихотворении он писал: «...Какой тут низкий потолок, как трудно со смертью примириться...»

Когда Мити не стало, я узнал, что за восемь месяцев до смерти, он составил завещание, где в числе других назвал и меня — мы должны были позаботиться о его литературном наследстве.

Но за все эти годы никто из нас — а названо было десять имен — ничего не сделал для его памяти. А сейчас все «наследники», кроме меня, кажется, уже ушли из жизни. Чувствую, что должен что-то сделать, чтобы сохранить имя Урина среди

тех писателей, которые в далекие двадцатые, тридцатые годы зачинали советскую литературу. Но что я могу? Только написать эти короткие воспоминания.

Через два дня после его похорон в Доме литераторов состоялся вечер, на котором выступали Л. И. Славин, К. Я. Финн, В. П. Полонский. Выступал и я, говорил о необходимости издания его произведений — меня поддержали. Но ничего издано так и не было. Справедливо ли это?»

<1974>

Поначалу мне казалось, что источником сведений о Дмитрие Урине могли бы стать его рассказы, в большинстве которых герой наделен автобиографическими чертами.

Повествование в них ведется от первого лица, а героя зовут, как и автора, Митей.

Однако позже я поняла, что относить факты, описанные в рассказах, целиком к жизни Дмитрия Урина было бы неправильно — своеобразие его творческой манеры в том и состоит, что в реалистическую, хотя и несколько гротесковую ткань повествования порой вплетается вымысел.

Направилась в РГАЛИ, где хранится архив Якова Захаровича Черняка — критика-исследователя, упомянутого Уриным в своем завещании. Там меня ожидало немало открытий: я обнаружила письма Урина к Я. З. Черняку и к Л. И. Славину, автобиографию Дм. Урина, написанную им для вступления в Союз писателей, предисловие Я. З. Черняка к так и не изданному сборнику произведений Урина, письмо в издательство «ЗИФ» с проектом «газеты будущего» и прочее.

Начну с автобиографии Дмитрия Урина, приложенной к его заявлению о приеме в ССП. Она проливает свет на некоторые факты его биографии, в частности на год и обстоятельства рождения.

*«Киев, 6 апреля 1934 года*

***Заявление о приеме в Союз Советских писателей.***

*Прошу принять меня в Союз Советских Писателей. Сообщаю требуемые биографические и библиографические сведения.*

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

*Родился в 1905 году в Екатеринославе во время погрома. Тогда же мои родители удрали в Москву, где год и несколько месяцев спустя в феврале тысяча девятьсот седьмого года зарегистрировали мое рождение.*

*Мой отец был закройщиком. Ему было больше сорока лет, когда я родился, но он, по моей памяти, многократно бросал свое ремесло и пускался в коммерцию, то есть занимался маклерством весьма неудачно. Учился я в Виленской гимназии П. И. Кагана (в середине войны она была эвакуирована в Екатеринослав).*

*Значительную помощь мне оказывала старшая сестра, артистка Юрина. Занятия мои в гимназии кончились в девятнадцатом году. Мое первое стихотворение было напечатано в 1920 году за подписью «тов. Митя» в подпольном комсомольском журнале «Молодой пролетарий».*

*Некоторое время я ездил с сестрой. Она работала в театре Первой Конной, Второй Конной, а также в разных актерских коллективах.*

*В 1921 году я служил в Малом театре ПУКВО реквизитором и учеником бутафора. Тогда же я занимался и посещал студию Общества Работников Художественного Слова (ОРХУС).*

*В 1923 году я напечатал в «Пролетарской Правде» ряд стихотворений и рассказ. В том же году начал работать в комсомольской газете «Молодой пролетарий». Сначала зав. отделом «жизнь рабочей молодежи», потом заведующим редакцией. Это была заря рабкоровского движения. Мы организовывали первых «рабкорманов», как они тогда назывались.*

*Осенью этого года я начал учиться и работать в театральной студии. Это была сначала учебная организация, а потом театр. Ее организовали заведующий школой МХАТа К. И. Котлубай, артист И. П. Чужой и вахтанговцы Ф. Тепнер и В. Куза.*

*В 1929 году я жил и работал в Ленинграде — газета «Смена», издательство «Прибой». Там вышла моя первая книга «Шпана». В течение нескольких лет руководил комсомольской литературной мастерской «Вагранка».*

*Много занимался газетной работой и разъезжал по газетным делам. В тридцатом году был послан редакцией «Крас-*

*ная новь» и издательством «ЗИФ» с бригадой писателей на новостройки. Был на Сельмашстрое в Сталинграде, Челябинске, Свердловске, Магнитогорске, Златоусте, Нижнем и Ярославле.*

*Собирал под непосредственным руководством Анатолия Васильевича Луначарского научный материал для памфлета «Газета будущего». Работу эту еще закончу.*

*Писал и пишу для театра и кино. Болен тяжелой формой порока сердца.*

*Дмитрий Урин».*

«Газету будущего» обнаружить мне пока не удалось, но главная идея этого памфлета изложена в письме в издательство «ЗИФ». Его машинопись также хранится в архиве Якова Черняка в РГАЛИ. Письмо это кажется мне замечательным не только по содержанию, но и по стилю изложения, сочетающему органичный юмор и глубину мысли — качества, в высшей степени характерные для творчества Урина.

«Уважаемые товарищи! Я хочу настоящим письмом предложить Вашему издательству свою работу — новую беллетристическую попытку осветить будущее.

Общеизвестно, что все выпущенные на эту тему книги, так называемые научно-фантастические романы, приключенческие утопии и несмелые социологические предвидения скромных многосемейных писателей, несмотря на безусловную, в некоторых случаях, талантливость авторов, до нашего основного читателя не дошли, советского читателя не захватили. Пролетарская литература этой темы не касалась.

И вот получилось очень забавное и очень грустное явление. В эпоху, когда слова «грядущее» и «будущее» написаны на всех знаменах, беллетристика об этом самом «будущем» не зажигает ни одного желанья, не вызывает ни одного направления мыслей. Все время эта беллетристика вращается в кругу открытий доктора Икс и любви инженера Игрека, изредка раскрывая социальные полотна с механизированных животных, так же похожих на человека, как балалайка на трактор.



Я не хотел бы здесь обижать писателей — почти все они мои старшие товарищи, многие из них — мои учителя. Будет очень досадно, если кто-то поймет начало моего письма таким образом, что вы, мол, дорогие писатели, не можете написать романа с будущим, а я могу.

Ничего подобного — я тоже не могу. Для того именно я и начал писать об этом, чтобы доказать, что вовсе не случайно о будущем у нас не пишут. За эту тему брались талантливые столичные специалисты и горячие провинциальные старатели. И те, и другие с одинаковым почти результатом.

На этом яснее всего сказывается, как отстало литературное изобретательство от общего движения жизни — ведь то, что знает, но не может как следует рассказать любой идейный целеустремленный работник нашего времени, несоразмерно фантастичнее и выше того, что написано в фантастических романах самых передовых писателей. Какая показательная диспропорция! Беллетристические жанры стерлись, и устанавливать их для будущего значит снижать наше представление о нем.

Вот я и предлагаю влить наши мысли об этом самом будущем в еще не скомпрометированную форму. Считаю необходимым рассказать здесь о том, как и почему возникла эта мысль.

Еще в двадцать третьем году в киевской комсомольской газете «Молодой пролетарий» был поднят вопрос об отсутствии у нас не только художественной литературы о социализме, но и даже сколько-нибудь художественных выпуклых представлений об этом нашем грядущем.

По целому ряду причин вопрос этот не перенесли на страницы молодежной печати. Очередная боевая громокипящая кампания вскоре изъяла его из нашего сознания.

Однако я заинтересовался вопросом. В тот момент меня заботила не литература о будущем, а выпуклость, четкость и разнообразность наших общих представлений о нем. Вот мы работаем, как же нам рисуется — для чего?

Прежде всего я проверил себя. Результаты получились малоутешительные. Я привык думать фактурно, даже абстрактные понятия перерабатывались в моем сознании

в некие вещественные знаки и почти бытовые обстоятельства.

Несмотря на все это, будущее, в моем представлении проявлялось неясно, как на засвеченной фотографической пластинке. Вместо трехмерных представлений возникали общие слова, фразы общественного пользования, определения, зазубренные конкретно, холодно, как спряжения неправильных глаголов. Сначала я подумал, что это я такой бездарный, а у других такие представления есть. Для того, чтобы убедиться в этом, я стал негласно собирать нечто вроде анкеты по этому поводу: «Представляете ли вы себе будущее? Как? Вот вы — в будущей комнате, за стенкой какие-то люди, восемь часов вечера. Расскажите, как вы себя представляете это, если у нас тысяча девятьсот семьдесят восьмой год?»

Не буду перечислять всех своих вопросов. Там были разумные и глупые, пытливые и смешные, наивные и ехидные. В то время я заведовал редакцией нашей газетки, общался с лучшими и худшими ребятами, заседал со стариками, дружил с опытными работниками, надоедал им, развлекал их. Мне нетрудно было собрать свою нелепую анкету среди самых разнообразных товарищей.

Часть этих материалов я уже растерял, но хорошо помню общий результат, вернее общее впечатление от всех полученных мной ответов. Выпуклого представления о будущем не было. Были изумительные детали, были остроумнейшие замечания.

У стариков случались расцветы выношенной долголетней мечты, у молодежи попадались минимальные требования, сравнения с «домом отдыха» и даже с больницей, но картины не было, я не мог составить ее хотя бы из кусков.

И очень хорошо! Только через шесть лет я понял, как бессмысленна была эта социологическая мозаика. Но результаты анкеты и тогда не расстроили меня. Состояние было бодрым, ответы бодрыми, и то, что на неразрисованном полотне наступающих лет не возникало определенной картины, вовсе не помешало работать и верить, что картина будет написана, и теми именно красками, которые создадут наши усилия.

Разве художник всегда видит картину, которую должен нарисовать? Ведь чаще всего ему достаточно знания и чувства того, что он хочет сделать. На этом я покончил и отложил полученные ответы в сторону.

Но вот, через пять лет, в двадцать восьмом году меня снова притянули к этой теме. Украинское бюро юных пионеров и украинский детский журнал созвали совещание библиотечных работников, педагогов и писателей, имеющих отношение к молодежным темам. Пришли два украинских поэта и один беллетрист. Припелся и я. И вот оказалось, что педагоги, пионерские работники и библиотекари нападают в нашем лице на всю мировую литературу за то, что она не дала им ни одной осмысленной картины будущего.

«Что мы можем нарисовать детям? А детям нужно в основном рисовать», — кричали педагоги. «Дети мечтают лучше, чем мы объясняем им», — вопили другие. «Взрослые читатели спрашивают эту литературу не меньше детей», — заявляли библиотекари. Мы были приперты к стенке. Мировая литература съежилась.

Спокойней всех оказался беллетрист. Он первый сумел отказаться на том основании, что сейчас он занят романом о нравах <...> богемы, а затем должен исполнить заказ издательства на тему о Днепрострое и молодежи. Его доводы показались солидными, и по взглядам слушателей было понятно, что они уважают такого работника на два романа вперед.

После беллетриста расхрабрились поэты. Они заявили, что делают все, что могут, и что в новых стихах вряд ли возможно удовлетворить любопытство пионеров и рабочих. С ними молча согласились. Когда они уходили, я слышал, как один педагог спросил у другого: «А що воны пышуть?» — «А так, — ответил тот, — про садок вишневый коло хаты- читальни».

Таким образом, из представителей «той самой литературы» остался я один. Со мной эти люди церемониться не привыкли. Мои художественные принципы они уже научились игнорировать, изредка для разнообразия подвергая их издевательствам и сомнению. Они знали, что меня можно разбудить в двенадцать часов ночи с тем, чтобы к утру я на-

писал громовую статью или веселый фельетончик о каком-нибудь сельском активисте, который ухитрился приколоть булавочкой у куркуля на спине лозунг о перевыборах в сельскую раду.

Отказываться я не имел права — меня презирали за отказы и называли «интеллигентом». Оставляя мне посреди ночи тему, редактор хлопал меня по спине и говорил: «Ось тобі соціальнэ замовлэнья».

Что к этому нужно прибавить, кроме того, что «соціальнэ замовлэнья» в переводе на русский язык означает: «социальный заказ». Я подчинялся. И здесь чувствовал, что стоит им немножко нажать, указать на необходимость, обругать меня интеллигентом, и я уступлю им и сооружу для перевода на украинский язык с репортерской быстротой газетный роман, где будет фигурировать одно неизменное и якобы основное открытие, один великий разрушитель, два друга, изобретатель и его молодой помощник, и, наконец, для интересности одна женщина с фантастическим неземным именем, похожим, скорей, на имя дирижабля.

Кому только неизвестен этот рецепт, и как все-таки даже самые хорошие работники все время только видоизменяют и переворачивают его и почему-то не решаются вовсе отбросить это истершееся клише, достойное прошлого и не достойное будущего.

Еще минута, еще один крутоидеологический нажим там, на совещании, и я, молодой и новенький, согласился бы сделать то же, что делали старые и опытные. Но на меня не нажали, и я счастливо избавился от фельетонного подхода к дорогой мне теме.

Единственное, что все-таки навязали мне, — это ознакомиться с материалами, доложить к следующему совещанию через три месяца результаты своих исследований по следующим тезисам: какие социалистические элементы вовсе не показаны в наших фантастических романах; какие социалистические элементы показаны; почему, несмотря на то, что они показаны, в романах все-таки социализмом не пахнет; почему от ихнего социализма скучно; и что в основном нужно доба-

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

вить к романам, чтобы время, о котором они повествуют, показалось нам более интересным.

Я уходил после совещания, вспоминал свою давешнюю анкету, и мне хотелось ответить на все эти вопросы старым своим впечатлением: «все оттого, что ни у кого из нас нет выпуклых представлений о будущем».

Но позже, когда я ознакомился с материалом и ощутил его, мне стало ясно, что дело не в этом. Об отсутствии каких представлений может быть речь, когда в каждой отрасли человеческих знаний есть свой перспективный план.

Есть не только представление, есть большее — знание. В каждой науке есть твердо зафиксированный икс, раскрыть который должен завтрашний или послезавтрашний день. Ведь к этому, в значительной мере, сводится философия всякой науки.

Я позволю себе напомнить менделеевскую формулу: «Знать, чтобы предвидеть». Но ведь на этом же, наконец, зиждется созданная значительно раньше менделеевской формулы марксистская наука, наука — в отличие от подчас весьма зыбкого представления социалистов-утопистов.

Понял, как смешна была моя старая анкета, и решил оправдать ее детством. Если у кого-либо нет представления о будущем, какой-нибудь, скажем, евгеники, значит, он просто чужд этой отрасли знаний. Вот и все. Там, где отсутствует представление, там до некоторой степени присутствует невежество.

Но каково было мне, когда, прочитав после этого своего решения целый ряд фантастических романов, я убедился, что авторы писали их со знанием научных перспектив, что писатели не страдали невежеством.

Присмотрелся тогда и понял, что от ихнего социализма скучно по совершенно другим причинам.

Во-первых, и в основном — из-за указанной уже изношенности жанра и, во-вторых, из-за того, что авторы хорошо изучают вопрос о перспективах одной какой-нибудь отрасли, а всю остальную жизнь дают, так сказать, фоном, поверхностно и туманно. Аэропланчики летают и садятся на крыши, кнопки

нажимаются, массы гудят издали, как статисты за сценой, улицы называются мудрено вроде: «16-я линия имени международного энтузиазма».

В центре становится какая-нибудь противослезная сыворотка, а жизнь, социалистическая жизнь, будущая жизнь остается типичным фоном. И авторов нельзя обвинять — нельзя ведь быть перспективным энциклопедистом.

Таким образом, я пришел к выводам, что мы никогда не сможем нарисовать даже частичной картины будущего, так как для того, чтобы знать фон, надо знать множество научных перспектив. Это слишком сложно, а без фона нет жизни.

И сразу же после этого печального решения я стал жалеть все написанное о будущем. Ведь какой материал! Ведь всех это трогает! Ведь после нас не потоп, а социализм! Ведь это так нужно! Пусть научное предвидение спорно, спорность — лучшие художественные дрожжи.

Но вот, перебирая какие-то пыльные библиотечные богатства, я однажды наткнулся на номер Санкт-Петербургских Ведомостей за 1879 год. С любопытством выволок пожелтевшую газету на свет и стал читать. Как большинство людей, близких к газетам, я их не читаю, а просматриваю. Но здесь я читал, читал все, начиная от заголовочного объявления о подписке и приемных часах и кончая объявлениями и типографской фирмой.

Все было удивительным, необычным, характерным, все — и условия подписки, и объявления, и верстка, и заголовки, и пафос, и ехидство по какому-то заглохшему поводу. Читал и перечитывал архивную эту газету.

Из двух альбомных листов в мое сознание входило и становилось явственным и понятным то время, о котором мы читали столько повестей, стихов и романов самых разнообразных направлений самых различных авторов. Попробуйте, это интересно — заглянуть на большие высочайшие рескрипты, солидные губернаторские «доводы до сведения» и рядом — куценькие заметки о судебных делах, об исполнении приговоров над революционерами, разбойниками и бунтовщиками.

И большой шрифт, торжественные фразы, двухколонная верстка, а рядом — сбитый хроникерский петит дадут вам ли-

тературно и даже графически самое точное представление об исторических пропорциях.

И новые картины произвольно начнут проецироваться после каждой статьи на волновавшие когда-то темы, и старое волнение оживет на них перед нашими улыбочиво наблюдающими современными глазами.

Судебные отчеты, назначения, некрологи, объявления о продаже кареты или чухонской земли, литературный отдел, критика — все воссоздавало мне то время. И, как предмет в кинематографе, показанный с разных точек зрения, тот Петербург, тот мир, показанный различными репортерами, газетчиками всяких специальностей, фельетонистами разной хватки и всяческими анонсодателями — мир, заснятый с разных точек зрения, стал явным, как воспоминание.

Газета воспринималась как художественное произведение. Здесь нет ничего странного. Дом нашего соседа только дом, а дом нашего предка — уже театр. Но и дом нашего потомка — тоже театр. И газета не только за этот год, но и за следующий год — тоже произведение. Решил, что подлинную перспективу всяких отраслей знания, своеобразную «энциклопедию перспектив» легче всего художественно показать в форме. Такую газету я и предлагаю вам издать. Начал уже ее писать и, надо надеяться, со временем закончу.

Я, может быть, неправильно выразился, назвав этот номер газеты «энциклопедией перспектив». Пожалуйста, не думайте, что это будет нечто вроде словаря по всяким вопросам будущего.

У меня задача значительно веселее: фельетоны, статьи, хроника, исторический отдел, смесь, сводки научных войн, корреспонденция с театра культурных боев, отделы искусства, статистики, гастрономии — будут полны всеми человеческими чувствами. К тому же чувствами полного накала — страстями. Это моя основная задача. Хочу, чтобы это было основной сквозной философией газеты.

Не номера, машины и кнопки, но люди, страсти, соревнования. Пусть это дерзко. Об этом и боязно, и страшно говорить, но мне, молодому человеку, очень хочется ответить

им — Джером К. Джерому и Герберту Уэльсу и даже нашему отечественному Эжену Замятину — всем им, авторам скучных будущих, ответить вещью, потому что на картины не отвечают статьями и предисловиями.

Ответить веселой картиной о том времени, когда чувства человеческие не закинут, а расцветут, освободившись от непроизводительной борьбы и уродливых болезней, скопидомства и стяжательства.

Знаю, товарищи, что вместо того, чтобы писать все эти слова, лучше и проще было бы сразу предоставить рукопись на рассмотрение и усмотрение соответствующего, а иногда и несоответствующего редактора.

Я так бы и сделал года через полтора — два, медленно и упорно, с большими трудностями закончив рукопись. Но, во-первых, хочу закончить эту вещь значительно скорей, а во-вторых, не хочу больших трудностей. Для этого мне нужна помощь. И прошу ее у вашего издательства.

Мне нужна кое-какая библиотека по соответствующим вопросам. Хотел бы получить ее от вас. Кроме того, я просил бы вас заключить со мной обычный договор. Ясно, что буду собирать материал не один. Энциклопедичность — всегда дилетанство. И мне хочется сделать честное дело.

Мне приходится уже брать частые интервью у профессорско-специалистов. До сих пор с меня хватало Киевской Академии наук, но боюсь, что мне придется заехать и в Ленинград, и в Нижний Новгород, не говоря уж о Москве.

И мои товарищи-ассистенты по выкачке материала из живых и книжных источников — обо всех я упомяну в издании, и разъезды, и затрата времени — все это, конечно, мои личные расходы, но считаю должным упомянуть о них в оправдание моего желания заключить предварительный договор и получить рабочую библиотеку.

Итак, позвольте сделать, как говорят у нас, заявку на предложенную выше «газету будущего — энциклопедию перспектив».

Предупреждаю, что вовсе не буду слепо придерживаться всех материалов, хотя бы потому, что даже самый научный из них сплошь и рядом противоречив. Выбор их, а иногда и заме-



«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

на собственной мечтой, помещение их в надлежащих пропорциях и в популярном и разогретом виде — есть мое авторское дело.

Предупреждаю, что в отделе историческом я, возможно, пощекочу сегодняшний день и надеюсь не обойтись без памфлета на отдельные негативные стороны нашей современности, не придавая, впрочем, этому характера чрезмерной злободневности.

Обязываюсь представить к определенному, выработанному нами сроку, макет газеты совместно с материалом, но ставлю обязательным условием мое общее руководство технической стороной издания, версткой, игрой шрифтов, иллюстрациями, графическим и фотографическим материалом и даже брошюровкой.

С радостью, конечно, использую для общей моей задачи всех, кого направит издательство в то время, когда газета будет уже оформляться.

Я не настаиваю на 1979 годе. Надеюсь, что по вопросу о дистанции забега в будущее мы посоветуемся с товарищами, специально занимающимися перспективным делом.

Заранее не соглашаюсь на постепенную сдачу материала, так как, несмотря на различность публицистических, газетных, беллетристических и, может быть, графических манер, я хочу сделать цельную вещь, и видеть, как она получилась у меня, можно будет только в законченном виде».

Договор на «газету будущего» с издательством «ЗИФ» был заключен — проект Дмитрия Урина, очевидно, показался убедительным. Однако эта работа так и не была завершена по ряду обстоятельств как внутреннего, так и внешнего порядка. Упоминания о них, достаточно туманные, встречаются в письмах Урина ко Льву Славину, которые также обнаружены в архиве Якова Черняка.

В этих письмах, помимо «газеты будущего», упоминается его совместная со Славиным и Финном повесть «Путешествие в страну гигантов». Она создавалась по результатам поездки этих писателей по «великим стройкам страны» в тридцатом году.

Очевидно, смерть Урина прервала эту работу, повесть так и не была окончена. Приводимые ниже четыре письма Дмитрия Урина ко Льву Славину характеризуют, в какой-то степени, их взаимоотношения и обстоятельства жизни нашего героя.

*Киев, 27 января 1931 года*

*Дорогой Лев Исаевич! Ваше малоуспокоительное письмо получил. Мне тоже необходимы месяц-полтора для окончания работы. А тут еще целый ряд привходящих обстоятельств. Я поделюсь с Вами и буду очень рад, если Вы поддержите меня ободряющим советом.*

*Помимо «поездки» я должен ЗИФу еще «газету будущего», которую писать сейчас бессмысленно. Вместо нее я делаю очень злой и, кажется, смешной памфлет на материале ответов на анкеты. Срок «газеты» истек первого декабря. Памфлет будет готов нескоро, скажем, в апреле. Это раз! (мне еще не напоминали).*

*Два. Таиров просит внести злободневные поправки в пьесу — придется. Постараюсь их сделать в такое время, чтобы это не помешало окончанию романа. И три. Меня кормит кинофабрика, кормит плохо, но время забирает. А тут я себя плохо чувствую, и поехать в санаторий придется.*

*Обрисовав свои веселые дела, очень прошу Вас и товарищей, — потому что у меня в Москве никого, кроме, — сделать для меня следующее. На днях я Вам пришлю справку из МК Писателей (писменников) о том, что я был долго болен. Это сыграт ту же задерживающую роль, а послать ее проще, чем четыре листа, да еще, по-моему, не показательных. Я прошу Вас, чтобы, действуя этой же справкой, Вы отсрочили месяца на три договор по поводу «газеты будущего».*

*В Киеве жить не хочется. А в Москве валяться (и где?) — тоже не улыбается. Ради Бога, сделайте все, что полагается, а то они там расторгнут что-нибудь, а здесь ко мне явится милиционер и опишет мой кривой письменный стол. Я буду очень огорчен, и стыдно будет. По существу из всего, что дала мне литература, это будет самым заметным для окружающих.*

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

*Напишите мне, это крайне необходимо. Что за писатель пошел! В моей страшной оторванности и горестях Москва напоминает мне только об обязательствах, а старший хранитель литературных традиций и главный интеллигент Яков Черняк приветствует меня телеграммами на тему о давно отосланных, возвращенных и вновь отосланных дневниках.*

*Хорошо, что я должен Москве, иначе меня бы совсем вычеркнули из списков. В следующий раз я буду делать лишние долги. Очевидно, это тесней свяжет меня с людьми.*

*Пишите, это крайне необходимо. Щире превитанья вашей шановной дружине, я вже дуже освітчений в галузи українського життя, будь оно проклято. Оно это она. Крепко жму руку. Ваш Дмитрий Урин.*

*Москва, Малая Дмитровка, Успенский пер., д. 10, кв. 16*

*Киев, 2 марта 1931 года*

*Дорогой Лев Исаевич! У меня один миллион цуресов. Переезжаю пока в Ленинград. Уже еду! Очень прошу Вас написать мне туда письмо и сразу, Мойка, 16, кв.1. Я погибаю, питаюсь Литгазетой. Это конская колбаса из Пегаса. Пожалуйста, сделайте это! Не колбасу, а письмо, сегодня, например! В Киеве Бабель, он кланяется. Ничего у этого еврея не поймешь — не то он секретарь сельсовета, не то кончает где-то производственный ешибот. Я ужасно боюсь приезжать в Москву. Литература делает сталь. Что делаете Вы и все? Финн, Яков Захарович и другие теоретики? Я много хорошего написал, ей-богу! Привет жене. Дмитрий Урин.*

*27 сентября 1931 года*

*Дорогой Лев Исаевич! Я получил из ЗИФа бумажонку о невыполнении договора на «Путешествие в страну гигантов» и ответил, что свою работу почти сделал, но она очень большая, так что если можно прошу выделить меня из договора и дать еще три месяца сроку. Адресовал я непосредственно юрисконсульту. Он, конечно, передал в соответствующий отдел, а там ко мне отнесутся, вероятно, строже, чем в народном суде. Прошу Вас заступиться за бывшего писателя и удостове-*

*ритель, что я, действительно, пишу. А если медленно, то только вследствие слабости и по семейным причинам. Вам-то лично сообщу, что тот роман я временно отложил, так как писал, кажется, интересные вещи, но через месяц я его, действительно, закончу. Без столь веского повода я бы не рискнул Вам написать. Спросишь у Вас, какие новости, а Вы отошлете к Литгазете. Я читаю и, таким образом, в курсе литературной жизни. Подтвердите мне только, правда ли, что В. был в Чернигове, а Котомкин отправился на маневры.*

*Сплю плохо. Живу пока в Киеве. Числюсь в Ленинграде. В ноябре еду в Сочи по поводу здоровья. Умоляю Вас написать мне, что Вы делаете? Где Ян? Где Финн? Что мне делать? Я сейчас вполне рапповски мыслю, но стал значительно лучше писать, и это мне мешает. Зарабатываю в кино и неплохо. Кроме того, служу завлитчастью в театре. Это почетная должность, нечто среднее между академиком и помощником администратора по идеологической части. Приветствую Софью Наумовну. Пишите Киев, улица Пятакова, 30, кв.9».*

*«Киев, 18 марта 1934 года*

*Дорогой Лев Исаевич!*

*Я принужден еще раз просить прощения за свою назойливость, но мне страшно хочется знать, что с моей книжкой или хоть — где она? К кому мне надо обращаться за ответом? Очень прошу Вас, Лев Исаевич, напишите мне об этом!*

*У меня все по-старому: болею, пишу, работаю в театре и читаю газеты с таким чувством, как будто я на мысе Уэллен. Наш театр просит Вас заключить с нами договор на Вашу следующую пьесу. Пожалуйста, дайте ответ. И, пожалуйста, соглашайтесь.*

*Жду Вашего письма (откровенно говоря — давно жду). Привет Софье Наумовне. Мой адрес <...> Жму Вашу руку, Дм. Урин».*

Письма Урина к Славину были переданы Якову Черняку Алексеем Крученых, о чем в деле имеется документ:

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

«Расписка

Получено мною от редактора сочинений Дмитрия Урина, товарища Я. Черняка двадцать пять рублей за доставку пяти писем Дм. Урина (одно в копии).

Двадцать пять рублей получил.

Алексей Елисеевич Крученых

15. 01. 36 г.»

Из расписки следует, что планировалось издание сочинений Дмитрия Урина. Это подтверждается и найденным мною в архиве Черняка наброском к предисловию для посмертного сборника произведений Дмитрия Урина. Своим предисловием Черняк явно пытался подчеркнуть в сочинениях Урина его преданность делу революции, народу, его участие в сталинской пятилетке — тот необходимый идеологический набор, без которого нельзя было рассчитывать на публикацию.

В то же время чувствуется искренняя симпатия к рано ушедшему талантливому писателю, его творчеству дана высокая оценка.

«Среди молодых писателей, творческий облик которых определился в «годы великого перелома» в двадцать девятом—тридцатом году, Дмитрий Урин занимает свое, особенное и существенное в развитии советской литературы место как разносторонне одаренный стихотворец, драматург и талантливый новеллист, стремившийся восстановить в нашей литературе чеховское искусство короткого рассказа, рассказа-эпиграммы.

Дмитрий Урин за немногие годы, горько и рано оборвавшейся жизни, создал ряд произведений, которые не будут забыты, они останутся в литературе, как благородный след горячей искренней любви художника к жизни советского народа, осуществленного участия писателя в первой сталинской пятилетке, беспредельной и стойкой преданности искусству, артистизму, мастерству. Дмитрий Урин мерил советское искусство самой высокой мерой — его соответствием великой эпохе его создания».

Дмитрий Эрихович Урин умер в Москве. Последние два года жизни он почти сплошь был прикован болезнью к по-

стели. Отделениям для сердечных больных лечебниц в Киеве, Одессе, Москве был хорошо знаком молодой голубоглазый улыбочивый человек, с благородной сдержанностью прятанный от людей тяжесть своего недуга, обреченный на скорую смерть и знавший об этом.

Товарищи и сверстники пристально следили за развитием таланта молодого писателя, возлагали на него высокие надежды, рассчитывая, что в ближайшие же годы творчески раскроется богатейшее содержание мыслей и чувств его прекрасной индивидуальности, которая ощущалась каждым, приходившим в соприкосновение с Дмитрием Уриным.

Смерть, не бывшая на этот раз неожиданной ни для кого из друзей и меньше всего для самого Урина, оборвала его деятельность в самом ее начале.

Двадцативосьмилетний писатель, изредка появлявшийся в Москве, большую часть своих сил отдал работе в киевской комсомольской печати. Здесь печатались его первые стихотворения, фельетоны, очерки. Переломом его литературной биографии стало появление первых крупных произведений (повесть «Шпана» и роман «Последняя халтура»), изданных в Ленинграде и Москве.

С этих пор в литературных московских журналах начинают появляться его рассказы и повести. Отметим, в особенности, его рассказы «Клавдия» — «Новый мир» и «Митрополит» — «Красная новь», вошедшие и в настоящий сборник. Они привлекли сочувственное внимание критики и литературных кругов.

Несомненное, отчетливо выраженное советское мироощущение молодого писателя роднило его с новым поколением советской литературы, вступившим в жизнь именно в эти годы. Дмитрий Урин сближается с молодыми писателями Л. И. Славиным и К. Я. Финном и вместе с ними в тридцатом году задумывает создать книгу о социалистическом строительстве, об индустриализации нашей страны. В рабочем порядке, условно, эта книга называлась «Путешествие в страну гигантов» и одной из первых глав должна была стать повесть «Лилипуты», черновые тетради которой сохранились среди бумаг Урина.

Дмитрий Урин с воодушевлением приступил к подготовке этой книги: он совершил серьезное путешествие по крупнейшим стройкам страны. Был в Сталинграде, Самаре, Златоусте, Челябинске, Свердловске, по всему «маршруту индустриализации» изучая материалы, собирая ценнейшие наблюдения и занося их в письма-дневники, которые посылал родным как заготовки для будущей повести. Он входил во все детали строительства, ввязывался в борьбу с трудностями, активно помогая их преодолевать.

В «Правде» и «Известиях» тех дней можно найти несколько его телеграмм, сигнализирующих о важнейших этапах и затруднениях строительства. Так, оказавшись на строительстве Челябинской гидроэлектростанции в момент, когда из-за недостатка цемента работы могли быть приостановлены, Дмитрий Урин добился от соседнего «гиганта» Челябтракторстроя согласия поделить своими резервами с Челгрэсом, попавшим в беду. Когда он, после целого дня неутомимых хлопот, разгоряченный, с мучительной одышкой, возвращался в рабочее общежитие, он весь светился от радости, что принял, хоть в такой форме, прямое непосредственное участие в великой стройке нашего времени.

Повесть «Балайба», открывающая настоящий том избранных произведений Дмитрия Урина, написана вскоре после путешествия по крупнейшим стройкам страны. Не связанная с этим путешествием по материалу, она, тем не менее, отражает саму атмосферу горячего стремительного движения забываемых первых лет первой пятилетки. Как это часто бывает с произведениями, написанными «по горячим следам», со стороны формально-литературной в повести этой легко обнаружить многочисленные недостатки. Тем не менее, она заслуживает внимания читателя хотя бы по одному тому, что картина мощной переделки жизни очерчена в ней одушевленно и искренне писателем, до глубины души взволнованным великим переломом в жизни народа.

В одном из позднейших рассказов «Митрополит» он обращается к теме, остро интересующей и современную литературу — отношениям между поколениями в нашей революции.

Урин обращался к ней и в рассказе «Клавдия», но здесь автор поднял вопрос о сопротивляемости нашей молодежи силам старого мира.

Не раз перед ним возникала эта тема — отзвуки ее можно найти и в ранних рассказах, и в повести «Балайба». Однако, впервые в рассказе «Митрополит» эта тема раскрывается с такой превосходной художественной чуткостью и зрелостью.

С замечательной проникновенностью и психологической правдивостью рассказал автор о духовном поединке, об идейной дуэли, происходившей между советским мальчиком-подростком и хорошо вооруженным, располагающим изощренным оружием из арсенала старого мира, проводником религиозного мировоззрения».

Предисловие Якова Черняка осталось незаконченным. Это лишь набросок, который особенно ценен тем, что доносит до нас оценку произведений Урина его современником, человеком высокообразованным, умным, порядочным и, несмотря на все эти качества, несвободным в своих высказываниях.

Вполне понятно, что писатель не мог быть искренним в годы надвигающегося террора. Удивляет, однако, что даже в тех случаях, когда можно было промолчать, он высказывался с горячностью, с энтузиазмом. Я имею в виду его оценку повести «Митрополит», где, говоря словами Якова Черняка, «автор поднял вопрос о сопротивляемости нашей молодежи силам старого мира». «Нашу молодежь» в повести представляет мальчик Мишка четырнадцати лет, сын чекиста, «силы старого мира» — митрополит, человек умный, европейски образованный, вынужденный приспособляться к новым условиям и идти на компромиссы.

Складывается впечатление, что автор симпатизирует мальчику, приветствует его победу в «идейной дуэли» с митрополитом. Мне же этот мальчик кажется «душевным уродом», а его «победа» — залогом будущего краха.

Предвидение, которое свойственно большому таланту, позволило Дмитрию Урину увидеть и показать художественными средствами, как неизбежно и зловеще происходит подме-



«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

на: от революционных идеалов остаются лозунги, борьба за равенство вырождается в насилие над личностью, сочувствие обиженным и оскорбленным сменяется враждебностью и жестокостью ко всем, кто не числится в единомышленниках... Все это не называется, а только угадывается, но не заметить этого нельзя. Возможно, Черняк решил предоставить читателю выбор, кому симпатизировать: будущему чекисту или бывшему митрополиту, — а для этого требовалось донести до читателя сочинения Урина, ради чего автор предисловия готов был сместить или даже переставить акценты...

Искренняя теплота отношения Урина к Черняку, его уважение к старшему другу и признательность видны в письмах Урина, из которых приведу два. В первом из них содержится его отклик на смерть Маяковского: это письмо мне кажется особенно интересным и, я бы даже сказала, художественным.

*«Киев, 20 апреля 1930 года*

*Дорогой Яков Захарович!*

*Мне очень нужно получить от Вас письмо. Оно должно подтвердить мне существование города Москвы и всего, что там обитает и произрастает. Так вообще я все это помню и даже отчетливо могу представить себе, но твердой уверенности, что это действительно существующий город, а не мое собственное вранье, — у меня нет. Я о себе неплохого мнения и даже думаю, что мог бы придумать Москву. И если Москва действительно существует, то существует ли наша организация? Ее дела, перспективы и надежды?*

*О смерти Маяковского мне тяжело спрашивать. Ужасная острота!*

*В «Психологии общественных настроений», незаконченной книжке Л. Н. Войтоловского, рассказан следующий факт. Во время эпидемии самоубийств в девятьсот седьмом, восьмом, девятом годах в каком-то городе, кажется, Симферополе, в цирке шел водевиль «Я умер». Играли лилипуты. В самый комический момент, когда один из героев пропищал: «Я умер», во втором ярусе какой-то остряк, перегнувшись через барьер,*

крикнул всему зрительному залу: «И я умер!» — и застрелился. Трагическая непоследовательность! Можно ли обвинять человека, когда он так непоследователен!

Правда, мой ребе говорил, что можно непоследовательно жить, а умирать приходится всегда последовательно, — но на старика можно не обращать внимания. Вы видите — он меня ничему хорошему не научил.

В Киевском зоологическом саду два года тому назад умер слон. За два дня, пока студенты ветеринарного техникума не организовали субботник по подъему и препарированию покойника, пока серая туша с конвульсивно поджатым хоботом лежала на траве, через зоосад прошло восемь тысяч посетителей. Тогда не понимал, чем мертвый слон интереснее живого. Знал его давно и часто стоял у его перегородки. Мне было очень приятно чувствовать себя маленьким. Может быть потому, что именно здесь я был маленьким, как все. Чуть больше, чуть меньше — какая разница по сравнению со слоном. От него пахло украинским навозом и прелой прохладой бабушкиного погреба. Наизусть знал этот запах с детства и не верил экзотическому слонячьему паспорту. Все это не имеет никакого отношения к делу — вспомнил же я об этом, когда речь зашла о слонах.

Дорогой Яков Захарович! Простите меня за танцующий ход мыслей, за то, что я пишу Вам просто письмо и не прошу ничего такого — ни денег, ни одолжения, ни даже направленной внимательности. Дело в том, что Киев сейчас совершенно украинский город почти без русской колонии, и мне хочется, мне надо чувствовать существование Москвы реально, а не рефлексивно. Знаете этот опыт? Рефлексолог подносит к уху испытуемого часы. Глаза закрыты. Чрезвычайно медленно он отводит руку с часами в сторону:

— Внимание! Когда вы перестанете слышать тиканье, скажите: ближе!

Проходит три-четыре минуты. Рефлексолог уже давно спрятал часы в карман и остановил маятник, а испытуемый говорит: «ближе», «дальше», «ближе», «ближе».

Так я ощущаю Москву. Ближе, товарищи, ближе! А то, черт его дери, я уже не слышу московского тиканья. Напишите мне.

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

*Попросите это сделать товарищей. Я пишу, вернее, собираю «Утопию» и пьесу. Написал три небольших рассказа. Смертельно скучаю по газете. А ведь всю жизнь ее ненавидел!*

*Интересуюсь организовать лето. Жду письма. Привет Елизавете Борисовне и всем, которые друзья или похоже. Адресуйте мне в Киев, на улицу Пятакова, д. 30, кв. 9.*

*Ваш Дм. Урин».*

*«Москва, 8 июня 1934 года*

*Дорогой Яков Захарович!*

*Второй раз я уже в Москве и не встречались с Вами. Поверьте, что это очень огорчает меня. В эту свою поездку я очень много проболел. Мне стыдно показывать себя Вам в унылом виде. Скучные мысли не способствуют продолжению старой дружбы, и я поэтому немного прятался, сказать по правде.*

*Меня отвозят сегодня, но у меня есть причины надеяться, что я буду работать удачней, веселей. Через два месяца я должен приехать снова. Меня очень удивило, что московская часть нашей «группы» редко встречает Вас. Вот для них нет никаких оправданий — забыть, как Вы тянули всех нас за уши в большую жизнь, литературу и всякое такое. Я это очень-очень помню и именно поэтому стесняюсь, что я не «вытянулся» и сосредоточенно занимаюсь своей воистину разбухшей печенью.*

*Обязательно восстановлюсь и приду к Вам. Привет Елизавете Борисовне.*

*Целую Вас, Дм. Урин».*

Во втором письме выражается надежда на выздоровление, — но к этому времени Дмитрий Урин знал, что обречен, конверт с завещанием, в котором он писал, что относится к смерти «как к явлению, уже коснувшемуся его», был запечатан и ждал своего срока.

После смерти Урина его жена, Суламифь Моисеевна, актриса Киевского драматического театра, пыталась как-то продвинуть дела с публикацией его произведений. Она надеялась на помощь Якова Захаровича, не раз писала ему.

Однако, судя по всему, в «комиссии по литературному наследию Дмитрия Урина», назначенной им самим, единства не было.

Юлий Бер, человек необычайно активный, энергичный, имел свое мнение по поводу ведения дел, он атаковал Суламифь Моисеевну из Москвы своими советами, чем немало ее возмущал. Рафаил Скоморовский, «руководитель комиссии», да и другие ее члены, были заняты собственными делами. Кто-то из них даже высказывал вдове «подозрения в своекорыстии».

В письме Якову Черняку в октябре тридцать пятого года она пишет:

*«Письмо-завещание Мити я обнаружила среди бумаг покойного, и я оповестила об этом его друзей и родных — этого достаточно, чтобы избавить меня от всяких подозрений в своекорыстии <...> Твердо придерживаясь текста завещания, надо помнить, что отдельные члены комиссии не вправе давать директивы мне, как это делает товарищ Бер, а если есть необходимость изменить какие-либо мои действия, то надо обращаться к председателю комиссии товарищу Р.С.Скоморовскому <...>»*

Сборник, который готовил Черняк в Москве, не был опубликован по не зависящим от него обстоятельствам. Известно, что в тридцать шестом году, после начала известных политических процессов, он был обвинен в сотрудничестве со Львом. Каменевым и отстранен от работы.

Наверное, были проблемы и у других членов комиссии. Знаю, что мой отец, несколько лет сотрудничавший в газете «Известия», руководимой Николаем Ивановичем Бухариным, чтобы избежать ареста, колесил по стране, читая лекции по истории в самых отдаленных ее уголках.

В результате единственной посмертной публикацией произведений Дмитрия Урина стал небольшой сборник с шестью рассказами, выпущенный в Киеве в тридцать шестом году..

Ни Славин, ни Финн, ни Скоморовский — писатели, близкие Урину, — в своих произведениях, в том числе и документальных, не вспоминают о нем ни единым словом.

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ...»

Зато упоминание о Дмитрие Урине я неожиданно встретила в сборнике воспоминаний о Пастернаке. Известный поэт и литературовед Лев Озеров, рассказывая об одном эпизоде, иллюстрирующем отношение Виктора Некрасова к Пастернаку, пишет: «Виктора Некрасова я знал по Киеву, где в начале тридцатых годов мы посещали литературную студию, которой руководил блестящий рассказчик и драматург, рано умерший Дмитрий Эрихович Урин».

Куда же исчез архив Урина? Каким образом попало к моему отцу его завещание? Теперь никто уже не даст ответа на эти вопросы. Много лет лежал конверт с завещанием в папином архиве. Обнаружив его, я поняла, что теперь оно обращено ко мне, поэтому я, и никто другой, должна его выполнить, что и пытаюсь сделать в меру своих возможностей.

Завершить этот очерк о Дмитрие Урине мне хочется его единственным уцелевшим стихотворением: перепечатанное папой, оно сохранилось в его архиве. Помню, папа очень любил это стихотворение и читал его с большим чувством — оно напоминало ему о юности и рано ушедшем друге.

*Я мечтаю о женщине.  
Что тут стесняться, ребята.  
Я в стихах не соверу —  
даже голос немного хрипит.  
Разве можно забыть,  
что она приходила когда-то,  
вызывала меня и кричала  
у окон моих:  
— Митя дома? И уже  
выбегаю навстречу,  
так, что лестница... так что  
только держись....  
И уже совершенно понятен  
сегодняшний вечер,  
и понятной становится вся моя,  
вся моя жизнь.*

*Я когда-то мечтал написать  
гениально поэму.  
По-сердечному просто, как будто бы  
люди — родня,  
чтобы я человечески тронул  
какую-то тему,  
и чтоб все обратили внимание  
на меня.*

*Потому что я знаю, что музыка слов  
охладела:  
мама жарит котлеты,  
невеста читает журнал...  
Если только подумать: какое,  
какое им дело,  
что поэма великая  
этому миру нужна.*

*Я мечтаю о женищине,  
что тут стесняться, ребята!  
Я в стихах не совру,  
даже голос немного хрипит.  
Разве можно забыть,  
что она приходила  
когда-то,  
вызывала меня и кричала у окон  
моих...*

Киев. 1926 год

о. Владимир Зелинский

## О музыке и смерти<sup>1</sup>

Поэзия правдива, ибо обнажает сокрытую истину и тайную красоту. Поэзия и правда соединены музыкой и онтологически едины. О. Павел Флоренский прав, настаивая на причастности творчества поэта некой духовной реальности; он не вполне прав, может быть, разделив всю реальность лишь на софийную и демоническую.

Спиритуализм столь категорический, столь бескомпромиссный, бывает порой слишком суров к здешнему миру, ибо подлинным считает лишь то, что лежит за пределами телесного нашего восприятия.

И если видимое — всего лишь «отблеск от незримого очами», если всякое «здесь и теперь» случайно, подозрительно, преходяще, то поэт — в лучшем случае лишь визионер, лишенный четких мистических ориентиров, едва касающийся «шестым чувством» того, на что нужен твердый, наметанный глаз.

Но разве возвращение вещам подлинных их имен — возвращение правды о них — не заслуживает благословения?

Цель поэзии — не только выразить незримое в здешнем, но и видимое облечь светом невидимого, вернуть звучание тому, что мы разучились воспринимать смертным слухом. Сделать вещи присутствующими в том виде, какими вышли они из рук Творца.

---

<sup>1</sup> Начало в № 251. — *Ред.*

То определение, которое апостол Павел дает вере в Послании к евреям, парадоксальным образом может быть отнесено и к поэзии. «Вера же есть: уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». Суть определения в том, что «невидимое» ожидается и предчувствуется нами, что душа наша тянется к невидимому, что она заморожена тоской по нему и уверенно прозревает его в уповании. «Вещи» — мир в целом, сотворенное и сущее, первозданное и подлинное — вдруг становятся видимыми. Это не платоновский мир «идей», которые должна постичь или «вспомнить» душа, это тот окружающий ее мир, незримый и зримый, для нее именно созданный и ее ждущий, но сокрытый в обыденном, черновом восприятии.

В поэзии слово как будто непредугаданно что-то с себя сбрасывает, становится вдруг нагим, и мы изредка успеваем уловить в нем какое-то «объясняющее странное движение, все то же плещущее сгорание одежд...» (Из Записных Книжек).

Так — будто бы луч света выхватывает из черноты нечто при- таившееся, окликающее нас, и в звездном небе или в «пылинке дальних стран» проглянет внезапно гармония и сотворенность, и словно горстка благословения прольется из человеческой речи...

Мы, люди, существуем благодаря тому, что обладаем речью. Но лишь поэзия может вернуть нас к ее подлинности, очистить ее от безликости и мути. Она возвращает нас к той истине, которую мы носим в *памяти* и сердце — истине языка. Когда поэзия исчезает (а это случается, по наблюдению Мандельштама, лишь во времена общественного идиотизма), как быстро тускнеет язык и сереют называемые им вещи.

Вспомним о том, что Пушкин и Блок, Толстой и Гоголь оставались для стольких людей последними незатоптанными очагами русской речи, что не давали ей заledenеть, когда она, казалось, уже не звучала речью человеческой.

Язык — не только «живое и трепетное отечество внутри нас» как довелось прочитать где-то, это еще и особая реальность нашего существования, и скрытая его музыкальность. Дар поэ-



зии не только в том, что им выявляется эта музыкальность в языке, но и в том, что он соединяет нас с истоком самой музыки — со Словом. Ибо Слово, силой которого держится мир, есть источник света. Оно есть родник, коим все созданное приходит к бытию и гармонии. «Все чрез Него начало быть, что начало быть...»

Поэт приобщает нас в слове тому, что было одарено бытием. Трудясь над гармонией, он работает над очищением сотворенного мира. Созданное он ищет вернуть Отцу, обнаженным и звонким, «прекрасным втайне». Эту тайну он призван явить во всей ее музыкальности и во всей неподдельной правде.

В самом обнажении бытия и цветении тайны, невидимых пока под греховной копотью, раскрывает себя одна из сторон христианского призвания человека. Но призвание это не распадается на отдельные стороны; оно целостно. Святость на вершинах своих окрашивается поэзией, и поэзия, совершив в себе работу внутреннего очищения, находит в Церкви путь к *священнодействию*. Но то, что Церковь видит ясными, зрячими глазами, поэзия лишь предугадывает как сон

*...живой и мгновенный,  
Что нечаянно радость придёт.  
И пребудет она совершенной.*

Но поэт зачарован своими снами, он вовлечен в их взаимные отражения и игру. В мире дисгармонии и тяжести он покоряется неодолимому притяжению отпущенного ему дара. Но чем крупнее дар, тем прочнее связан он с тайной, которая из него вырастает и в нем раскрывается. Чем крупнее дар, тем более он открыт и обращен вовне, к вещам, к братьям.

Отсюда — исток противоборства, владеющего художником, натяжение между человеческой тяжестью дара и его божественной легкостью, разделение между «работой Господней» и стяжанием человеческим. Поэт озабочен тем, чтобы сберечь свою тайну от черни, он хочет бежать с нею к морю и в лес, где «обнажаются покровы» и внятен становится язык стихий, но там наедине со стихиями поэт оказывается беззащитен перед ними.

Стихии гибельные и дикие бросаются на его светлую тайну, стремясь овладеть ею.

*А ночью слышать буду я  
Не голос яркий соловья,  
Не шум глухой дубров...*

На каждом шагу закрывает нас тень «памяти смертной», «стенающей твари», крестной судьбы всего живущего. Тень и свет ведут свой нескончаемый спор во всем и повсюду. Тяжба двух зрений, двух интуиций, двух правд — удел христианина.

И особым образом запечатлевает себя этот спор в слове и тайне, им выявляемой. *Музыка* благословения всего сотворенного и существующего спорит здесь с «дикими страстями» и «сиянием небытия», с ночным притяжением смерти и служением ангелам ее. В поэзии, столь тесно связанной с глубинами христианского опыта, пусть и не проясненного, как поэзия Блока, спор этот разрешается и утрачивается заново — в гармонии.

Понять и осмыслить этот спор можно только в самой сути его — в причастии и кощунстве — в споре о Христе. Христос как исток гармонии — и музыка, и мука поэзии Блока.

«Безумная, упоительная скачка — на привязи! — писал он Е. П. Иванову в девятьсот четвертом году. Но привязь — длинна, посмотрим еще. Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин, пусть! Но, ради Бога, не теперь!..

Только в тишине увидим Зарю. Мы — в бунте, мы много пачкались в крови. Я испачкан кровью. Раздвоение особенно. Ведь я «иногда» и Христом мучаюсь. Но все это — завтра».

А назавтра (через годы «раздвоений») — «Двенадцать»:

*...Так идут державным шагом  
Позади голодный пёс,  
Впереди — с кровавым флагом  
И за вьюгой невидим,*

*И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди — Иисус Христос.*

## VI

«...почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос» (Чуковский).

«Дионисийское волнение из своей пучины вынесло на берег священное имя, может быть, неожиданно для самого поэта» (К. Мочульский. «Александр Блок»).

«Какова бы ни была логика блоковского замысла, через какие бы исторические аналогии ни осмыслял поэт «своего Христа», нельзя не признать, что образ Спасителя и искупителя, в течение веков служивший в руках поповщины орудием лицемерия и обмана, вносит известный диссонанс в пламенную музыку поэмы. Читатель «Двенадцати» вправе был разделить первое искреннее недоумение самого автора: «Почему Христос?» (Вл. Орлов. «Поэма Александра Блока «Двенадцать»).

«И теперь он кого-то видел, только, конечно, не Того, Кого он назвал, но обезьяну, самозванца, который во всем старается походить на оригинал и отличается какой-нибудь одной буквой в имени, как у гоголевской панночки есть внутри лишь одно темное пятно.

И заметьте: это явление «снежного Иисуса» не радует, а пугает» (о. С. Булгаков. «На пиру богов»).

«Как известно, живописец Петров-Водкин говорил Д.Е. Максиму: “Я предпочел бы, чтобы там был просто Христос, без всяких белых венчиков”... Не он один предпочел бы так» (С. Аверинцев).

«Этот Иисус Христос появляется, как разрешение чудовищного страха...» (о. П. Флоренский. «О Блоке»).

«Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос...» (Чуковский).

Кто ответит нам на это недоумение самого автора поэмы? Кому в конце концов принадлежит последнее слово? Литераторам? богословам? русской революции? Самой стихии, которой Блок, по его словам, слепо отдался в январе восемнадцатого года?

«Темой» Христа прорежена вся блоковская поэзия; последняя строка «Двенадцати» только собирает воедино множество разбросанных мотивов.

Христос «Двенадцати» есть разрешение и строение наново глухого и скрытого музыкального спора, в котором, если развернуть его и представить в лицах, атеист борется с аскетом, а мятежник не в силах победить в себе мистика.

Музыка и смерть оспаривают здесь друг у друга истину о Христе. Блоку первому была более всего мучительна эта невыговоренная спорность.

Конечно, того, что сказал однажды Достоевский, что предпочел бы остаться со Христом вне истины, чем с истиной вне Христа, Блок о себе повторить никогда бы не мог.

Христос был для него лишь частью того «песенного сказанья», той «лирической величины», какой представлялась ему Россия. Христос был лишь частью той истины, которая называлась у него так интуитивно смутно: «музыка». Поэт, хоть «он и слов кощунственных творец», ощущает эти имена как нечто нераздельное.

Вчитываясь в некоторые его стихи, мы пытаемся расслышать, что же лежит у него в истоке: музыка, Россия, Христос, или же эти темы слиты у него в одну:

*Задебрѣнные лесом кручи:  
Когда-то там, на высоте,  
Рубили деды сруб горячий  
И пели о своём Христе.*

*Теперь пастуший кнут не свистнет,  
И песни не споёт свирель.  
Лишь мох сырой с обрыва виснет,  
Как ведьмы сбитая кудель.*

*Навеки непробудной ленью  
Ресницы мхов опушены,  
Спят, убаюканные ленью  
Людской врагини — тишины.*

*И человек печальной цапли  
С болотной кочки не спугнёт,  
Но в каждой тихой, ржавой капле  
Зачало рек, озер, болот.*

*И капли ржавые, лесные,  
Родясь в глуши и темноте,  
Несут испуганной России  
Весть о сжигающем Христе.*

Стихотворение, как это часто бывает у Блока, поначалу кажется окутанным и закрытым звуковой тканью; чтобы войти в него, нужно отодвинуть его музыкальный полог. Строй стиха сразу же овладевает какими-то ритмами и речениями внутри нас, и мы незаметно оказываемся в его песенных узах.

Мы как будто запутываемся в той невесомой полупрозрачной материи, которой стихотворение занавешено. На занавесе изображен пейзаж чуть стилизованного васнецовского леса, за которым мы видим сцену, где разворачивается видимое действие стихотворения, его «сюжет».

Сюжет раскрывается как музыкальное воспоминание о русских раскольниках. Со старообрядческой Русью Блок, вероятно, мог соприкоснуться скорее всего через искусство. За три года до написания стихотворения он видел «Хованщину», оперу Мусоргского, в финале которой происходит массовое самосожжение староверов, выслеженных в глухих лесах царскими войсками. «Христа сжигающего» он мог услышать и в музыке оперы. Тогда он писал матери:

«Хованщина» еще не гениальна (то есть не дыхание Св. Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только еще готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа...»

«Дыхание духа» воспринимается поэтом сквозь «звуковые волны». Блок пытается разгадать их исток. За музыкой оперы, за дыханием России созревает гениальное будущее — гармония воплощенная. В стремлении к точному и тайному именованию ее сути — гармонии, гениальности и России — Блоку приходит на память одна из ипостасей Святой Троицы. Там, где проносится дыхание духа, видит он и очистительного «сжигающего Христа»...

Открытая «сцена» стихотворения представляет нам Русь раскольничью. Она отодвинута в глубину, в даль и был, былем поросшую, в глухую, ленивую глушь. Музыкальный путь к ней начинается еще раньше — почти из былинной древности. К раскольничьему, к мятежному Христу последней строфы приводит нас давно умолкшая песня дедов.

Но ее молчание все еще хранит в себе свет и покой. Первые строки стихотворения еще доносят некогда начатую и затерявшуюся где-то песню, соединяют нас с таинственно светлым духом музыки. Блока делала великим поэтом его способность воспринимать музыкальную сущность мира, слышать подлинное его звучание, что не заглушает время — «в душе или извне — этого Блок никогда не знал» (Л. Д. Блок. «Были и небыли»).

Некогда эта музыка и вправду звучала на Руси. Может быть, она сама и была Русью. Она собирала своих верных и слышащих, всех способных воспринять сердцем ее тайный повелительный зов. Но мир и тогда был недостаточно музыкальным, и людские скопления в городах уже в XIV–XV веке и раньше, казалось, заглушали в сердцах небесные музыкальные знаки. Те, кто были привлечены этим зовом, уходили из городов в нехоженые дебри, чтобы там, повинувшись музыке, трудиться молитвой и жить духовным делани-

ем. Лишь молитвой и музыкой *были* они связаны и ничего не знали друг о друге.

Но молва об их одиноком подвижничестве привлекала других; так рождалась община, возникал устав, монастырь, и как завершение музыкальной темы вырастал среди леса купол небольшого бревенчатого храма, где, должно быть, долго и хорошо пахло смолой и свежесрубленным деревом.

Ипоки ставили там престол и освящали его именем Святой и Живоначальной Троицы

И пели о своем Христе.

Пусть и не уложилось это в строки и осталось догадкой, но древняя эта песня была внятна и душе Блока, донесена до нее струением тех молитв, сонмом тех святых, поднявшихся над Русью и навеки оставшихся — «когда-то там на высоте» — причастными памяти поэта, музыкальной и церковной.

Но ныне небесные эти дали плотно закрыты; на переднем плане — сырые ведьмины мхи, недоброе безлюдье, томительная недосказанность русского севера. «Убогая финская Русь» — как называл ее Блок, и кругом нее — опущенность, обреченность. И все же та музыка не умерла, но спит. Ею напоена вся земля. Она наполняет болота, стекается по каплям из лесной глуши. Русь болотная чревата сжигающей бурей. Буря, когда она разразится, будет носить имя Христа.

Тема осени и болот проникает в поэзию Блока и неожиданно разрастается в ней. Зловещий покой болот и осень имеет для поэта двоякий смысл: «вольный разгул и распятие» (Федотов).

Из осени, разгула, распятия и болот возникает блоковский Петербург, «самый страшный и царственный город в мире», выросший на болотах, полный темных видений, Петербург незнакомок, лацуг, кабаков, набухающий революцией и «Двенадцатью»...

Но болота и осень царствуют и за городом. Горючие срубы давно сожжены, дедовской песни ниоткуда не слышно. «Единственный общий враг наш, — пишет Блок матери (1909), — рос-

сийская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники...»

История пошла прахом, музыка иссякла в ней. «Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарочал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень» («Ни сны, ни явь»).

Ныне те, кто вглядываются в русскую революцию, стремясь постичь ее смысл, должны разгадать его и в душе Блока. «Революция произошла для того, чтобы Блок написал «Двенадцать», — написал один поэт (И. Сельвинский), иронизируя над самим собой.

Но эта нелепость может стать истиной, если помножить ее на другую нелепость: революция произошла оттого, что ритм и разгул «Двенадцати» уже скопились в сердце Блока. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию», — призывал он накануне «Двенадцати», слыша, как соединяется в нем заветная музыка и упоительная любовь к гибели...

«Сирень была столетняя, — продолжает Блок, — кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней — березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня совсем».

Из своего имени Блок следит за близящимся развалом и хочет соучаствовать в нем. Чем вызвать очистительную бурю: ударами топора, музыкальным заклятьем, пьяным, осенним пошвистом? Блок пойдет туда, куда повлечет его стихия, куда позовет его «сжигающий Христос», которому во всех «раздвоени-



ях» своих он остается верен. «Религия — грязь (попы и др.) — записывает он после «Двенадцати». Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы «недостойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой.» (Дневник, 20 февраля 1918 года).

Комментарий Орлова (блоковед): «Другой», более достойный вести народ в будущее...» («Поэма Александра Блока «Двенадцать»).

Комментарий Долгополова (блоковед): «Стихия требовала от Блока безоговорочного подчинения, ибо, какой бы она ни была, ее руками творилась история. Блок подчинился ей. Это было подчинение исторической необходимости, самой истории...» (Цит. по А. Якобсону «Конец трагедии»).

Комментарий Луначарского:

*Так идут державным шагом,  
А поодаль ты, поэт,  
За кроваво-красным стягом,  
Подпевая их куплет.  
Их жестокого романа  
Подкутил тебя трагизм.  
На победу мало шанса,  
Чужд тебе социализм, —*

.....

*Только знай, поэт мой чуткий, —  
Сзади к армии пристал:  
Не теряя ни минутки,  
Ты вперёд бы поспешал.  
Красной армии колонны  
Догони-ка авангард...*

*По А. Якобсону*

И наконец — самого Блока:

«Вы послушайте только — говорит поэт. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом — прийти вот сюда и рассказывать свою душу подставному лицу.

Половой:

Непонятно-с, но весьма утонченно-с... Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке».

(Из драмы «Незнакомка»).

## VII

Тот ли Христос, что мелькнул в метелях «*Двенадцати*», был *услышан* Блоком и в песне дедов? Вправду ли, Христос из «верхнего угла «убийства Катьки», — как писал Блок художнику Анненкову, делавшему обложку для первого издания поэмы, — и Христос, отразившийся в средоточии музыкальной тайны Блока, неотличимы друг от друга?

Тогда *согласимся* с мнением представительных критиков, готовых потерпеть Христа лишь в качестве сомнительной, темной метафоры для величия революции, познавшей свою историческую необходимость.

Или же сойдемся на более либеральной, «эстетической» точке зрения, что «образ Христа» — один из тысячи тысяч, созданных мировым искусством — неповторим у Блока именно мелодией своей, но не смыслом, не Именем, не Реальностью? Или же такую мелодию, такой образ в душе художника мы решимся соотнести с Подлинником веры?

Бердяев говорил: в одно и то же время в России жили величайший русский святой Серафим Саровский и величайший русский поэт Александр Пушкин, никогда даже не слышавшие друг о друге.

Но приводя этот пример безнадежного и горестного разделения двух путей — спасения и творчества — тех путей, которым, по мысли его, надлежит встретиться и соединиться, Бердяев сам едва ли подозревал, что мог бы взять для примера двух своих современников.

Почти в одно и то же время и почти поблизости друг от друга жили отец Иоанн Кронштадтский, имевший дар прозорливости и исцеления словом, и Александр Блок, поэт-медиум, причастный духам истории и ритму ее. Где-то, должно быть,

мелькнули в газетной сутолоке их имена (начиналась эпоха всевластия коммуникаций), донесшиеся — одно для другого — лишь шумом, докучным и праздным, и сгнули еще горше и безнадежней.

А между тем оба были мистики, ясновидцы, но острота их разделения, их полнейшей несхожести может быть только оттенена тем, что оба они — и святой, и поэт — видели в своем служении Христа и писали о Нем.

Но ничего, конечно, не могла иметь общего «Моя жизнь во Христе» со «сжигающим Христом» «в белом венчике». Как не имел ничего общего Христос спасения и умной молитвы со Христом бури и апокалипсиса в давно обособившихся друг от друга поэтических и профессиональных мирах литургии и лирики.

Пути их разошлись далеко, теперь уж и концов не сыскать. Но именно в Блоке, как перед долгой ночью, мелькнул какой-то отблеск христианской православной культуры, на миг показался как будто прощальный знак ее.

Ибо трагедия отречения и разгула, трагедия пленения стихиями и «татарской волей», выношенная им, в нем созревшая, разлитая им по тончайшим лирическим сосудам, была пережита им все-таки — «около церковных стен».

Те поля и холмы, по которым в молодости он бродил за своими видениями, музыкально породнились с разбросанными по ним храмами (еще живыми тогда), и отголосок молитв и таинств смешался в его стихах с другими голосами.

Блок — паладин, богохульник, одержимый, Моцарт, Блок, умевший с пушкинским всечеловечием быть и немецким романтиком и «рыцарем бедным» Прекрасной Дамы, и Рыцарем-Страданье из средневековой Бретани, Блок с «лицом флорентийца эпохи Возрождения» (Горький) оставался все же «блудным сыном» своей Церкви, и понять его нельзя из какого-то самозамкнутого исторического или лирического «остранения».

В нем — обрыв, срыв, обвал, и в нем же — какое-то обетование. Он — великий поэт страны, где, вправду сказать, мало сделала успехов гуманная цивилизация и общечеловеческая

нравственность, но где среди тьмы, мятежа и дикости неведомым чудом *вырастают* солнечные колосья святости, существа из рода Богородицы, но и где сыновья добрых священников идут в нигилисты и бомбометатели, и у верующих матерей дети становятся разорителями храмов, но даже и это икающее, отслюнивающее купоны под образами животное может в какой-то хмельной стихии сохранить в себе лик той единственной, той «блоковской» России, что «всех краев дороже мне».

Кто-то сказал: и только такая Россия была ему дорога. Ибо с парламентом, с буржуазной устроенностью, с мадмуазелью, играющей на фортепьяно за стеной, была ему Россия отвратительна.

Душа Блока была как будто полем враждования двух одолевających друг друга сил, и он, мистик и медиум, был беззащитен перед обеими. В своей лирической клетке она билась о Христа, словно разрушая какие-то окутывающие его завесы, и то и дело закрываясь ими снова, забыв о древней истине, что Бог готов, но мы не готовы.

В «музыке Революции» Блоку в последний раз удалось помирить обе владевшие им стихии, в «духе музыки» — соединить Христа и «Другого».

«Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки», — писал он в «Интеллигенции и Революции», и мы ощущаем в том духе ледяное притяжение смерти, посылаемое лирическими волнами и заключаемое в гармонию.

Гармония — благодатная и оскверненная, противоестественный и нерасторжимый для Блока союз музыки и смерти, несет в себе мучительное двоение. Христос воплощается в ней, раздвигая пелены, туманы, стихии, но приходит к поэту всегда преломленным, раздвоенным.

Блок встречает Его в Метели и Революции, называет Его то Грядущим, то Голубым Всадником, то Младенцем в сожженной душе, но подлинного, единственного Имени Его, от-

крываемого лишь Церковью и Евангелием, угадать не может. Демон или посланный им «дух музыки» как будто похищает его в последний момент. «Что тебе Христос — то мне не Христос», — пишет он своему другу (1905), «...пустое слово для меня, термин, отпадающий, «как прах могильный»...» (1904), но у какого еще поэта мы находим такое обнажение его гармонической тайны?

*Христос! Родной простор печален!  
Изнемогаю на кресте!  
И челн твой будет ли причален  
К моей распятой высоте?*

И если попытаться отыскать слово, в котором соединились бы его «религиозный опыт» и «гражданское чувство», то этим словом будет боль русской Церкви. Боль — такое невысказанное и русское смешение ненависти и любви, как и блоковское соединение гибели и гармонии, дедовской песни, созидающей храмы, и «музыки Революции», их оскверняющей.

Музыка эта звучит у Блока порой так коряво и вздорно, что мы не слышим в ней ничего, кроме уязвленной ярости: — «Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой» («Интеллигенция и Революция», канун «Двенадцати») — то вдруг сменяется тоскливой нежностью: «...сиротливая и деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки...» (Дневник, после «Двенадцати»). И снова ярость и нежность вместе — в споре, в боли, в гармонии...

Открыв однажды «Добротолюбие», Блок поражается, сколь жив для него опыт подвижников и сколь мертвы слова Св. Писания, которыми те толковали его. В глубине своей поэтический его опыт берет начало в опыте аскетическом. «Мне лично занятно, — пишет он матери, — что отношение Евагрия к демонам точно таково же, каково мое к двойникам, например в статье о символизме».

Здесь — поразительное саморазгадывание искусства средствами самого искусства. Никто не может так глубоко загля-

нуть в душу художника, если художник не подарит собственного зрения. «Он полон многих демонов, — говорит Блок, — (иначе называемых «двойниками»), из которых его злая творческая воля создает по произволу постоянно меняющиеся группы заговорщиков. В каждый момент он скрывает, при помощи таких заговоров, какую-то часть души от самого себя.

Благодаря этой сети обманов, — тем более ловких, чем волшебнее окружающий сумрак, — он умеет сделать своим орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в лиловых мирах, добывают ему лучшие драгоценности — все, что он пожелает: один принесет тучку, другой — вздох моря, третий — аметист, четвертый — священного скарабея, крылатый глаз.

Все это бросает господин их в горнило своего художественного творчества и, наконец при помощи заклинаний, добывает искомое — себе самому на диво и на потеху; искомое — красавица кукла.» («О современном состоянии русского символизма».)

Искомое, кукла — другое имя гармонии...

### VIII

«Поэт — сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре.» Но эта роль вовсе не «гармоническая», она историческая. Время и духи времени — вот новые наследники собранных им богатств — и тучек, и вздохов моря, и священных сосудов. Правда, таинства уже не совершаются в них. Закоулки души празднично выставлены в музеях. «Звуковым волнам» придано необходимое направление. Стихии, среди которых некогда рождалась гармония, служат ныне экскурсоводами при «красавице кукле» — душе поэта.

Днем, когда музей открыт, они обстоятельно объясняют роль поэта в том великом деле, с которым он породнился в «духе музыки». А ночью, сбросив маски, они опять становятся демонами, опять двойниками поэта, что приходят к нему, чтобы взыскать по контракту, заключенному в «гармонические времена» художественного творчества...

*И сквозь решётку как зверка  
Дразнить тебя придут.*

Нам не нужно больше отвечать «Двенадцати» или едко «полемизировать» с блоковским демонизмом. Ответ уже дан — и мы слышали его — и в самом умирании поэта, и в корчах истории, рожденной «в чаду». Судьба поэмы известна: время оледенило и канонизировало ее.

Знаем мы и то, куда повел «снежный Иисус» ватагу своих апостолов; это место видно нам теперь хорошо. Мелькнув в метельном, в лиловом мареве, выполнив миссию метафоры, он, «наемник, не пастырь», предоставил овцам своим следовать за безначальной стихией, добровольно отдавшейся исторической необходимости.

Герои и прототипы «Двенадцати» — поп, буржуй, длинноволосый вития, а затем и ночной патруль красногвардейцев — все, кто шли за или против или болтался под ногами, — затерялись в черной метели, беспмятно, безвозвратно, никто уж не разыщет, где и когда.

Гармония же, их породившая, музыка, сдвинувшая с места земные породы и начавшая дело невиданной перестройки, умерла раньше всех. Все они вернулись к матери своей смерти, невольно и ненароком довершив собою следующий акт возмездия, в той лирической и исторической драме, ритм и сюжет которой Блок пытался уловить по актам предшествующим.

А, может, верный своему притяжению к гибели, он музыкально и гениально угадал и на этот раз? Может, и вправду, зная исток их, предвидел он и путь, коим покатаются его «звуковые волны» в историческом близком *будущем*? Но волны теперь улеглись, метели умолкли. Снега, нанесенные ими, набрякли и побурели. Время подошло к рассвету и внесло осторожную первую ясность. Христос из «Двенадцати» вернулся в песню, что никогда и не уходила с задебренных древних *круч*. Имеющий уши слышать ее, слышит.

Так кончалась эпоха брожения, двоения, смуты и обещаний. Детская православная набожность, как она сохрани-

лась в Блоке, — и в благословении Именем Господним в каждом письме близким, и в крестном знамении над «кроватькой милой», и даже в ночных молитвах — больше не уживалась в душах с «богохульством чисто клиническим» (Бунин). Богохульство стало политикой, набожность — мученичеством. Музыка возвращалась домой, уходила в леса, в катакомбы, в подвалы, на дно града Китежа, а наверху с лязгом и грохотом хлопотала история, лишенная и музыкальности и слуха. Стихи нельзя было больше выжимать из воздуха, ни ловить из зорь. Поля опустели видениями, травы не выдавали своих шелестящих секретов. Незнакомки как-то уж не заглядывали в пивные. По блоковским последним маршрутам ходили теперь битком набитые трамваи Манделыштама.

«Я — трамвайная вишенка страшной поры...»

«Намечается новая роль личности, новая человеческая порода», — писал Блок, еще вслушиваясь во что-то, в девятнадцатом году («Крушение гуманизма»).

«...мы утешаемся мыслью, — говорил он через два года в пушкинской речи, — что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он — родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо».

Между тем жизнь шла к концу. И не та смерть — которой так музыкально, «так хорошо и вольно умереть» — поджидала его. Потому что начиналась она, может быть, самым тяжким из опытов «страшного мира» — разлучением с «духом музыки».

Мы почти не знаем свидетельств об этом опыте, ибо для того, чтобы передать его, требовалась хоть какая-то связь с рождающей стихией и музыкальная влага ее. Но душа высыхала, ибо звуки прекратились. «Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» (Чуковский).

Во всех трех делах можно помешать поэту — и во внесении гармонии в мир, и в приведении звуков в гармонию, и в



самом обнажении духовных глубин. Тщетно бежать за теми глубинами в темный лес; они размыты и унесены рекою времени. «Когда б оставили меня на воле...» — отдается дальним эхом в пушкинской речи, но воля поэта скована. «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».

«Вероятно, тот, кто сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав... Он умер как-то «вообще», оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти» (В. Ф. Ходасевич. «Некрополь»).

«В его жизни не было событий. «Ездил в Bad Nauheim». Он ничего не делал — только пел. Через него непрерывной *струйкой* шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с девяносто восьмого по восемнадцатый. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он» (К. Чуковский, Дневник).

Так еще раз — в последний — обнажается давний смысл блоковского «духа музыки»: его сокровенное родство со смертью. Но не из стихии, не из стихотворения выступает она, наступает не на бегу, не на скаку, не в постижении искомого ритма, а вырастает в медленном музыкальном обезвоживании, как будто наступает отлив и обнажается темное, быстро высыхающее дно.

Время выпило еще одну душу, полную звуковых волн, и, не насытившись, побежало дальше. «Выпитость» — вот слово, которым Блок означал в Дневнике смертельную, смертную свою усталость.

«Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

Душа, где же твое тело?

Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.» («Ни сны, ни явь»).

Душа поэта, «опустошенная пиром» и оставленная музыкой, на пороге смерти проходит через мытарства. Рай поэзии и ад искусства — все это позади. Как те узники у Платона, что сидят в пещере, прикованные спиной к свету, она видит в воспоминании лишь музыкальные тени прошедшей схлынувшей жизни: Магдалину с сосудом драгоценного мирра, которое она принесет к ногам Спасителя; Петра с ключами от Царства Небесного; Саломею с отрубленной головой Иоанна Крестителя, полученную в награду за то, что пляской угодила Ироду и гостям его...

Может быть, Саломея и есть та цыганка, что пляской рассказывает жизнь поэта? Или это сама стихия, соединение метели и танца, вобравшая в себя душу поэта и выпившая ее? «В тени дворцовой галереи, чуть озаренная луной, таясь проходит Саломея с моей кровавой головой». Или он сам видит в себе служителя «неведомому богу», того провозвестника гармонии, что должен заплатить за нее жизнью?

Ибо всякой гармонии — языками птиц, полевых лилий, кораблей, ушедших в море — надлежит возвестить о Христе как о своем истоке и последнем своем пристанище, о Христе-Слове и Музыке, из которых все пришло к бытию, Христе-Вечности, куда оно однажды вольется, о Христе-Победителе смерти. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие...»

Поэт умирает, гармония, им сложенная, остается. Никогда уж не расстаться, не разойтись разнородным стихиям, слитым в ней воедино. Схлестнулись звуковые волны, те-

## О МУЗЫКЕ И СМЕРТИ

кущие из безначальных глубин, и так навеки застыли в изваяниях слов два несоединимых облика России, блоковская «тайная свобода» и его же «историческая миссия», «неложные обетования юности» и «достоянье доцентов», зовы гибели и песни «добра и света», блаженные поля и видения «пламенного бреда»,

*Да брань смотрителей ночных,  
Да визг, да звон оков.*

1980

Глеб Васильев

«...Я — ваш, больше, чем с небо!»<sup>1</sup>

*Из лагерных писем*

*Куда: Москва, Петровка, 26, кв. 322*

*Кому: Георгиевской Ек. Ив.,*

*для Васильевой Н.А.*

*От кого:*

*Коми АССР, ст. Печора, Лесокомбинат,*

*II колонна, п/я 274/11, Васильев Г.К.*

**30 мая 1946 года**

Ну вот, милые мои, я и могу поговорить с вами.

Начинаю с вопросов, как вы, и что делаете, я что-то забеспокоился. Напишите сейчас же обо всем. И обо всех! Приехал я сюда очень быстро и легко<sup>2</sup>. Сейчас погода холодная со снегом. Сегодня первый весенний день, по-нашему — ну, так как первое марта.

Пока могу только радоваться на мою жизнь. В ДОЦе<sup>3</sup> по специальности. Пока вообще все исключительно удачно (снова прибавляю суеверное «пока»). Писать, конечно, очень трудно сколь-либо вразумительно. Все больше исполняюсь удивле-

---

<sup>1</sup> Окончание. Начало в № 250. Печатается по материалу историко-литературного альманаха «Соловецкое море» 2008 год. — *Ред.*

<sup>2</sup> Этап продолжался с месяц. «Легкость» этапирования в зарешеченном товарном вагоне была достаточно изнурительна.

<sup>3</sup> ДОЦ — деревообделочный цех лесокомбината, выпускавшего сборные дома путевых обходчиков и 4-х квартирные дома для ж. д. начальства, а также стандартную мебель. В ДОЦе я работал механиком до 1947 года, после чего был переведен мастером в ремонтно-механический цех комбината. — *Г. В.*

«...Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

нием и благодарностью за всю, вами данную двадцатидвухлетнюю полноту и счастье; оно и прямое и в данных мне вами разных свойствах и способностях (пишу, ВВІ — мама и Индя<sup>1</sup>).

### **Февраль 1947 года**

Прошло три дня и вот вечером среди потемков и портянок вперемешку с домино — пишу.

Слушаю сводку погоды: «В Москве в шесть часов утра стояла пасмурная погода, температура воздуха +2° С», — это уже поэма из ворсистых воротников каракулевых, лучистых светофоров и черных следов шин на асфальте масляном.

Работаю слесарем и вопросы аварий, простоев, нарядов и выработки всех, кроме моей собственной, меня не интересуют. Работаю ночью, днем сплю, пишу, читаю. Сегодня третье февраля сорок седьмого года. Я чист, чище, чем был (Лилеев подарил обмылок), и руки стали чище — в них только молоток и напильник. Работаю успешно — сто тридцать—сто пятьдесят процентов. Теперь-то пирожок будет мой. Уже сегодня получил сто грамм.

Здоров и бодр зело. Единственно, утром малость морда пухнет. Глазки — щелки. Ни ноги, ни зубы она не трогает<sup>2</sup>. Пью совсем мало и даже суп сливаю. Остаток иногда днем бывает. Морозы 30–35° — день, другой — 10–12°. Северное сияние, с краснотой воспаленное, и за мной бегаёт — ты прогони. Ходьбы никакой, и холода не ощущаю.

Сейчас дневальный запалил печку. Тепло будет — и так хоть сижу без свитера. Видите — она топится на все время — значит у нас тепло. Господи! Ну, скажите — ещё Москву увижу? Очень я физией изменился, а руки, хоть грязные, но те же, и ногти острые — те же. Писем нет давно очень, но никому нет — значит, задержались, и придет куча.

### **Весна 1947 года**

Я совсем не знаю времени — так ведь и остался тем трех-четырёхлетним и те дни, не знаменуя развития, одинаковы в

---

<sup>1</sup> Индя — домашнее имя Клавдии Аркадьевны, сестры матери. — Г. В.

<sup>2</sup> Речь идет о повальной тогда цинге. — Г. В.

бесконечной для меня ценности, как гигантский пакгауз беспорядочных ощущений законченных, и надо только выбрать нужное, чтобы стать праведником.

### 1947 год

Я сижу в электроцехе. Черномордые крутятся, что-то мельгешат. Я читаю «Даму с собачкой». И тут Дмитрий Николаевич<sup>1</sup> — он у рояля — черносящего, у его выреза, говорит — вперед подавшись:

— Это спиц.

— А как его зовут?..<sup>2</sup>

Нет, вы этой ноты не услышите!

Я вижу — черномазые паяльной лампой палят голову кабана. Он весил пятнадцать–восемнадцать пудов. За уши держат двое, а третий водит шипящей голубой струей. Уши его вянут, как мои в беседе с косноязычными.

Полутемно... Чехов, кочегары с гигантской головой, щетиистой. На окне завитки снежные — папоротник молоденький и мохнатый.

### 11–17 марта 1947 года

Итак, милые, я в благодущии нахожусь. Хотя работать мастером в механическом цехе и было спокойнее, но обещанного пирожка и двести грамм не добавило<sup>3</sup>. Время работы не восемь, а одиннадцать часов. По «порядку» трехсменных мастеров на цех не положено и меня проводили слесарем. Экономисты и бухгалтеры восстали и сказали, что не выпишут на меня хлеб. Начальник цеха ответил, что будет кормить из своего кармана, ибо работа моей смены была во много раз успеш-

---

<sup>1</sup> Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), артист, мастер художественного слова. Когда он давал в день два концерта, то я стремился попасть на оба. Таким же первоклассным мастером этого жанра был В. Н. Яхонтов (1906–1945), мой кумир.

<sup>2</sup> «Как его зовут?..» — из композиции Д. Н. Журавлева по повести А. П. Чехова «Дама с собачкой».

<sup>3</sup> «Пирожок и 200 г. хлеба» полагались в добавку только рабочим при 100% выполнении норм, но не ИТР. — Г. В.

«...Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

нее двух других. И рабочие также норовили работать у меня. Он, то есть начальник цеха, проделывал сказанное два дня, но затем моя подпись на нарядах была объявлена недействительной, и завтра я буду работать слесарем.

Сегодня был в бане, побрился, выпался — я отдыхаю нынче. Это первый день отдыха без мысли о возможных непорядках на работе<sup>1</sup>. Читаю и пишу. Теперь пирожок и двести грамм зависят только от желания их получить, что при умении, полагаю, не составит труда. Работать буду по изготовлению инструмента, чтобы не отягощаться большим масштабом<sup>2</sup>.

С сим понижением в должности — не смею надеяться, что надолго зело поздравляли и я благодушен зело.

Работать буду ночью с двенадцати до семи, а потом спать, читать и аговаивать<sup>3</sup> с Космистом, коего совсем почти не вижу, хотя сплю рядом. Завтра получу сахарок<sup>4</sup> и чайком покейфствую. Говорят, писем привезли гору — мне тоже будет.

Куриль необходимо — это не только «совершеннейший вид совершеннейшего удовольствия» (Уайльд), но жизненная необходимость. Тут тянет страшно к дымку. Хотя Космист и говорит, что от оной китайской травки народ становится нарочито хилее, я думаю, не только от оной.

Нам дали новые рубашки и белье. Я не брал ни того, ни другого, хотя они хороши зело. Почему не брал? — Да, так, по инертности и красную<sup>5</sup> сдавать не хотел. Привык к ней, хоть и обветшала голубушка.

Сегодня мороз с солнцем. Градусов тридцать—тридцать пять. Но я иду за «бариновой кастрюлькой»<sup>6</sup> в столовую метров за сто,

---

<sup>1</sup> Мастера механического цеха зависели от работы и беспорядков во всех цехах комбината, от работы всех сотен его механизмов.

<sup>2</sup> Имеется в виду малый габаритный размер инструментов, в отличие, от огромных и тяжелых станочных деталей.

<sup>3</sup> Разговаривать (сленг). Привычный пропуск согласных фонем семейного сленга.

<sup>4</sup> Сахар пятьсот грамм выдавали на месяц в начале месяца. Он был неочищенный, ярко кирпичного цвета.

<sup>5</sup> Красная рубашка, чудом уцелевшая от дома.

<sup>6</sup> Имеется в виду ее небольшой объем. См. интервью. — Г. В.

раздет и в летних брюках. Не замечаю мороза — привык что ли. Конечно, зима сиротская — но и сама я к ней равнодушен.

Взбил тюфяк со стружками<sup>1</sup>, ибо они уплотнились, и моя плоть перебарывала голые доски. Теперь — «перина» и нет Левиафана, кой на острых камнях возлегает и твердость оных презирает<sup>2</sup>.

Была медкомиссия. Дали опять вторую, кажется. Дабы не раздеваться в толчее и не лишиться одежд своих, я пришел нагишом (это недалеко), чем несказанно изумил присутствующих. Весьма теперь дружен с Асмодеем<sup>3</sup> — его характер не виден — будучи заказчиком, он очарователен. Как-то поведал свою биографию — и форма и содержание были бесподобны. Описать нельзя, конечно, но это совершенство, как иллюстрация масштабов больших и, как иллюстрация отношения к ним, масштабов малых<sup>4</sup>.

Пишу про себя — повторяя писанное много раз — жив, здоров, без цинги и хвори. У нас теплынь и зима сиротская. После механика ДОЦа, замучившись в беготне и фактурах, счетах, рапортах и прочее, вырвался сменным мастером в механический цех. Проработал три недели в относительном спокойствии, хоть на одном месте и в тепле.

Работал, работал и пришел приказ о двухсменной работе. Ну, стал вертеться и, на счастье, — приказ о сокращении штатов. Проработал десять дней слесарем. В двенадцать выхожу, в семь — прихожу. Безответственность, и я даже чуть потолстел. Стал опять заниматься математикой, французским (тут

---

<sup>1</sup> Мешок, который набивали мельчайшими, смолой пахнувшими стружками из мебельного цеха. Однако это была «радость на три дня». Потом стружки обращались в труху, и ты оказывался на голых досках.

<sup>2</sup> Стих из В. К. Тредиаковского (1703–1768), где Левиафан — библейское морское чудовище. Продолжение этого стиха: «...по крепости великих сил, считая их за мягкий ил».

<sup>3</sup> Дядя Вася — механик ДОЦа, пожилой бандит и прекрасный человек. В это время он уже сидел до конца своего десятилетнего срока. Имел присловие — «Асмодей». Дядя Вася Асмодей был вором в законе и грабителем.

<sup>4</sup> Перевод последней фразы примерно таков: «Жизнь бандита иллюстрирует жизнь страны и отношение к последней жизни малых сил». — Г. В.



«...Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

есть учебник и книги) и прочее. Наслаждался, благодушествовал и был праведник. Но, увы, стали вести монтаж нового цеха и меня назначили начальником одного монтажа. Я впал<sup>1</sup>.

Это опять фактуры на месяц-два или больше, словом, на такой срок, о котором и задумываться грешно. Мне необходимо — SOS — мыло, бумага (толстуха синяя<sup>2</sup> пропала и ее пропажу я описываю в трех-четырёх письмах). Это произошло месяца три назад. Я имею по-прежнему восемьсот семьдесят грамм, но больше... Граньку вспоминаю<sup>3</sup>. Это, видимо, временно и Бог меня не оставит, и я устроюсь как-нибудь. Обо мне с этой стороны совсем не беспокойтесь. Вы пережили восемнадцатые-двадцатые годы, мы пережили сорок первый, и нет ничего противоестественного в моем положении. У Вас я знаю так же и даже в минус относительно моего.

Пять утра... Уже светает. Опять готтентоты замельтешили... Ох, ведь я всегда с пяти один не бываю, хоть трупы смердящие, но всегда тут. Принесли уже рыбу раздавать. Пора уходить. Съесть эти двадцать семь — можно, но нюхать двадцать семь на пятьдесят<sup>4</sup> — никак.

### **Апрель 1947 года**

Сегодня двадцать пятого апреля — тает, вся толща оседает и катится. Разморило. Вчера было минус пятнадцать градусов. Парился в бане и нырял в сугроб по-боярски — ничего, жжет, но приятно.

Преуспел в приобретении масла у китайцев — сорок пять рублей поллитра. Скоро сахар тоже куплю и буду кейфствовать кашей с тем и другим.

Читать мало времени, но много чего. И Доде, и Стендаль, и математики много — Берман<sup>5</sup>, скажем, химия, астрономия — все есть у Космиста и прочих.

---

<sup>1</sup> Расстроился (сленг).

<sup>2</sup> Толстая синяя тетрадь.

<sup>3</sup> «Гранька» (сленг) — ассоциация с голодом.

<sup>4</sup> Что за сакраментальное число «27» — не припомню, а «50» — примерное население барака.

<sup>5</sup> Учебник высшей математики для ВТУЗов. — Г. В.

Сейчас я у нас в Перловке, на одеяле на полу. Ты рисуешь. Солнца — туча, и пишу «Химию» — про аргон, потом пойдем на футбольное поле. Будем мороженое крутить и рисовать синими тенями<sup>1</sup>.

Пора домой. На платформе сидим на солнце, чернота досок талых и туго идут лошади на санях в мокроте. Записные книжки пестрые в киоске — грудой, и бумага — люблю ее за чистоту, за неизвестность, что будет на ней? Одна просит формул, другая — таблицу, третья — убористых строчек. А клочок мятый возьмет всякую халдыбу про себя и других.

Ой, полюбил Вас что-то до безумия и хочу с Индей идти от шоссе домой, и чтобы дождик побивал. И чтобы читал он в лесах, на горах<sup>2</sup> — вышивал бы крестом бретели. Жаден я стал до прошлого. — Ужас — всего-хочу.

Послал письмо Вам, чуть злое на отсутствие достойных <собеседников>. Правда, досадно, но ...но никаких быть не может — оскудение страшно, ибо безгранична, грохочущая на железных колесах<sup>3</sup>. Много есть колоритного, но в неприличии<sup>4</sup> своем оно угрюмо.

Слаба-сраба и Ваш миллион раз.

### 29 июня 1947 года

У нас теплая погода, жара даже. Ходил гулять и траву и кусты увидел, первый раз ходил на берег к реке, но купаться побоялся, холодно еще. Цветы и желтые и беленькие, ну, просто: — Мам, пойдем к фиалкам<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> «Крутить мороженое» — играли с мамой, проткнув лыжной палкой снежную толщу до талой воды, крутили кашицу. «Рисовать тенями» — выписывать глубокие лыжные следы, которые синели в закатном солнце.

<sup>2</sup> Переня тяжелую операцию на щитовидной железе, Клавдия Аркадьевна не работала несколько месяцев и, гуляя со мной, читала романы П. И. Мельникова-Печерского (1818–1883) «В лесах» и «На горах». С тех пор восхищаюсь старообрядчеством.

<sup>3</sup> На «железных колесах» летит под гору по булыжной мостовой телега человеческой глупости.

<sup>4</sup> Из анекдота. Разговор по телефону: — Ну, а анекдоты новые есть? — Есть, только они все неприличные, не для телефона.

<sup>5</sup> Весной в Перловке мы традиционно ходили с Натальей Аркадьевной за фиалками на берег разлившейся Яузы. — Г. В.

«...Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

Вот и последние известия заговорили — еще часа два и пойду читать; все еще «Бурю» Эренбурга мусолю. Не могу быть в доме — иду в цех, только выплусь. Черчу, считаю, ругаюсь. Тепло — хожу в рубашке, синей трикотажице, руки голые.

Кратчайшие дни пришли (двадцать девятое) — светлота и не знаю — утро что ли? У нас всегда знаешь утро, а тут посмотришь вправо — одно, влево совсем уже вечерет. Москву забыл — она стала, как Анапа.

### **Сентябрь 1947 года**

Середина сентября, солнце и ночи — наши, да еще августовские чернотой и теплом. День в рубашке одной, а телогрейка висит дома. Мушкары много, но живые места на теле есть. Ягод множество, и иногда могут быть употреблены.

Сегодня мне обещали выходной, и я обещанием воспользовался, но, может быть, еще вызовут. Обещали даже неделю отпуска, а потом ту смену, где будет один слесарь и один токарь в ночь с двенадцати.

Вот тогда напишу Вам, и вообще странно — даже не знаю, что в выходной делать — так отвык. Вот туманчик уйдет выше, и пойду все равно за кузницу к паровозу. Там бурые трава и шлак.

Я — ваш, больше, чем с небо!

### **Декабрь 1947 года**

Хочу в Сокольниках по болоту бродить, и чтобы на кустике была паутина и опоздалая птица в осени.

### **Декабрь 1947 года**

Вот брюк ватных пока нет и, когда были морозы, надевал на зёпу кожушок в рукава, пока он не выполз через брючину и не ушел в метель... Так и пропал кожушок. Рукавицы терял, но были принесены одним грабителем моей смены — отняты у грабителей другой.

### Без даты<sup>1</sup>

Имея возможность лицеизреть вашу особу, я использовал эту возможность раз в три месяца. Потеряв таковую, вспоминаю о тебе много чаще, чаще примерно в девяносто раз. Особо скорблю о волосах субъекта, в сохранности на его голове произрастающих. Чувствую, что нет покушений на недостойную шевелюру в моем отсутствии, не было и не будет. Прости, я вспомнил, что «во-первых строках сего письма» нужно обращение. Ну, вот оно: Светка, привет тысячу раз, процветай в физкультуре и вопросах дыхания калosz<sup>2</sup>.

Не знаю, как ты примешь мое письмо. Хотя нет, я не знал, но теперь знаю, что не испугаешься, ибо вспоминаю твои рассказы об очень многих твоих знакомых, забытых тобой, несмотря ни на что. И я, претендующий все же на звание твоего дальнего знакомого, хочу, чтобы ты вспоминала о Печоре раз в три месяца, не чаще и не реже.

О себе и жизни своей, писать не буду, скажу только, что какой был, такой и *БУДУ* и не забуду ни Маяковского, ни Асеева, ни кого другого из любимой литературной шатии. «... Нам много ль надо? Нет — очень мало — кусок хлеба и каплю молока, а солью будет небо и эти облака» — Хлебников<sup>3</sup>.

Повторяю эти строки нараспев, смакуя их звук, как пьяница — рюмку. Пусть и тебе прочесть придется когда-нибудь Велимира, и оцени их за ритм и за большой смысл в тональности звуков этой, на первый взгляд, примитивной формуле аскетизма. Повтори снова эту строку и не ленись, прошу, повтори третий раз.

Ну, как принято, скажу, что вспоминаю. Это не к слову, по-серьезному — всегда: разные с тобой циркуляции по переулкам московским и Арбат. Арбат — это Белый, в миру — Бу-

---

<sup>1</sup> Письмо без даты, адресованное Сахранской Светлане Анатольевне, хорошей знакомой. Впоследствии редактор нескольких отделов Большой Советской Энциклопедии (БЭС).

<sup>2</sup> Светлана профессионально занималась физкультурой и, учась в институте неорганической химии, занималась воздухопроницаемостью резины в лаборатории завода «Каучук». — Г. В.

<sup>3</sup> Из стихотворения Велимира Хлебникова (1882–1934), поэта, футуриста. — Г. В.

«...Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

гаев<sup>1</sup>. Эта ассоциация с фонарями в асфальте мокром в тумане и тишине, несмотря на трамвайные звонки и дуги с искрами. Это очень хорошо вспоминать и то, что я могу вспоминать, свидетельствует, что не сдурил и я рад. (Первую половину письма я писал трезв). Не взыщи и дочитай.

Я хочу говорить с тобой долго-долго, но говорить только, напоминая любимых мною поэтов, и говорить для себя — тебя забыл: не знаю насколько ты такая, какой я вижу тебя. Ну, пусть не такая — все равно, но знаю, что чуть-чуть оригинально получить цидулю с Печоры, где морошка, где солнце круглые сутки (СОНЦЕ — Маяковский)<sup>2</sup>. Хочу слышать Соловьиный сад<sup>3</sup>, и не убьют во мне этого — нет, нет, нет!

Я спасибо тебе говорю за тебя, маленькую и славную, и за те машины, что везли меня ночью со Смоленского к Павелецкому, и за то, что у тебя «очень» — это без прилагательного странно, но все-таки. Ну, я расписался. Надоедать тебе дальше, и взять второй лист бумаги (это, конечно, жертва).

Эх, Светка, я жалею, что мало знаемой тебе пишу такое письмо бестолковое, ну, будь умницей, — я стал много опытной и умней, и старше, и не обижайся и пойми, я увижу еще очень много скверного и когда-нибудь доживу до полосы хорошей. Сейчас в бритоголовом своем обличье трудно читать Маяковского, трудно читать и Блока, но забудь об отсутствии растительности на моей голове и читай.

И я читаю и буду читать. Обострилась память. Помню многое, чего не знал (утратил) раньше. Влюбился  $1/0^4$  — это поэма. Жил по-домашнему пять дней и живу всегда домашним и это самое важное.

---

<sup>1</sup> Настоящее имя символиста Андрея Белого — Борис Николаевич Бугаев (1880–1934).

<sup>2</sup> Однажды Маяковскому сделали замечание в грамматической погрешности. Он ответил: «Если завтра я напишу «сонце», то все должны будут писать так».

<sup>3</sup> «Соловьиный сад» — поэма Александра Блока, которую любила читать и хорошо читала Светлана.

<sup>4</sup>  $1/0$  — так обозначается математическое понятие бесконечности. Это, так называемая актуальная бесконечность составляла предмет пристального моего внимания, которое я и назвал поэмой. — Г. В.

Больше вспоминать некого и нечего. Да, еще: люби Москву. Ты кончишь институт и уедешь и будешь любить ее обвешанные виноградными кистями трамваи<sup>1</sup>, это будет... , но постарайся не уезжать. Из темноты черной два огонька — над ними — буква А<sup>2</sup>.

Я еду до Зубовского, иду направо к тебе, стучу тебе. Дома под стеклом на письменном столе Анна Андреевна Ахматова кисти Альтмана<sup>3</sup>. Читаю «Высокие своды костела...»<sup>4</sup> Эх, ох и ах и все междометия, какие только есть. Нет лучшего, чем вспоминать, это дает ощущение из полной кладовой моей жизни — я все опасаясь, такая ли ты, чтобы читать все это, но все равно мне приятно писать и приятно говорить с тобой — это так. Говоря, я сам эти слова бестолковые понял бы и подумал бы, что Хорошо, а, разбирая каракули, может быть, бросишь.

Но что же, только Маяковский и гиперболические функции<sup>5</sup> плюс тротуар мокрый есть жизнь. Это было и есть во мне. Это будет во мне. А здесь сосны, почти подмосковные, и штабеля сосновые пахнут смолой до одурения под круглосуточным солнцем.

Вот я и обнаглел и хочу письма от тебя, но чтобы ты оправдала мои надежды и, не дай Бог, напишешь хоть слово не так как надо!!! Слушал Яхонтова<sup>6</sup> — это траурная рамка, впадаю в детство, я боюсь, что резанет диссонанс, так вот, не дай диссонанса. Я кончил.

PS.....

Больше говорить нечего. Глеб.

---

<sup>1</sup> Имеются ввиду московские трамваи, обвешанные по утрам «гроздьями», цепляющихся за всевозможные выступы трамвая людей.

<sup>2</sup> Трамвай «А» («Аннушка»), проходивший по московским бульварам.

<sup>3</sup> Альтман Натан Исаевич (1889–1970). Портрет Ахматовой (1914) в синих тонах. Его репродукция в те годы была большой редкостью.

<sup>4</sup> «Высокие своды костела...» — стихотворение А. Ахматовой из сборника «Четки» (1914 г.).

<sup>5</sup> Этот класс математических функций был как-то предметом нашего обсуждения.

<sup>6</sup> В. Н. Яхонтов погиб в 1945 г., выбросившись из окна. — Г. В.

«...Я – ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

**1 июля 1950 года**

ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ

МОСКВА ПЕТРОВКА 26 КВАРТИРА 322 ГЕОРГИЕВ-  
СКОЙ

СР КОТЛАСА 137 12 1 1955 –

БУДУ ЧЕТВЕРТОГО ПРИГОРОДНЫМ ГЕОРГИЕВ-  
СКИМ – ВАСИЛЬЕВ –

Я возвращался из лагеря на перекладных. Воркутинский поезд довез меня до Котласа, где я ожидал пересадки на московский поезд семь часов. Успел выкупаться в Северной Двине и выспаться на теплых бревнах причала.

Не хотел возвращаться в Москву с перрона Ярославской железной дороги под шарящими взглядами оперативных работников, встречавших каждый поезд дальнего следования, идущий с севера. Я ощущал на своей внешности, включая походку, признаки возвращения после долгого отсутствия.

Поэтому доехал до Загорска, где пересел на ближайшую пригородную электричку. Основательны ли были эти превентивные мероприятия, не знаю, но они позволили мне чувствовать себя много свободней.

В Москве меня ждал билет на самолет до Алма-Аты, который и отправил меня на следующий день к новому этапу жизни...

*Публикация Светланы Рапенковой  
и Василия Матонина*

Виктор Фишман

## Бывшее и несбывшееся русской читальни Гейдельберга

В декабре тысяча восемьсот шестьдесят второго года, в библиотеке Гейдельбергского университета выходцами из России была основана русская читальня.

О ней писали Александр Герцен и Иван Тургенев, в ней готовил свою диссертацию русский философ Федор Степун, оставивший свои воспоминания в книге «Бывшее и несбывшееся»; здесь появились первые зрелые стихи Осипа Мандельштама; за членами читальни следили агенты царской охранки.

Первые пятьдесят лет своего существования эта читальня была одним из крупнейших центров русской диаспоры в Германии. И хотя история свидетельствует о том, что ее уроки никто не хочет учитывать, описанное ниже может быть полезно многочисленным центрам русской культуры современной Германии.

Задавая себе вопрос, почему эта читальня возникла именно в Гейдельберге, а не, скажем, в Геттингене, прославленном знаменитой фразой «С душою чисто геттингенской», гулял я по старинному городку, рассыпанному по берегам реки Неккар.

Казалось бы, туда, в Геттинген, уже была проторена тропа: еще в сентябре тысяча восемьсот пятнадцатого года в письме к Вяземскому Жуковский по поводу Александра Пушкина писал: «...Я бы желал переселить его года на три, на четы-



ре в Геттинген или какой-нибудь другой немецкий университет!.. Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными, увидишь, что из него выйдет!»

Во времена Пушкина в Геттингенском университете учились передовые люди пушкинской эпохи: его лицейский учитель А. П. Кунницын, приятель Пушкина, член Союза благоденствия П. П. Каверин, декабрист Н. И. Тургенев.

И лишь когда я поднялся на Гору, к величественным развалинам крепости Виттельсбахов, разрушенной некогда войсками Людовика XIV, мне показалось, что я уразумел причины: здесь уютно, как дома у мамы! Да и жизнь тогда, судя по воспоминаниям Федора Степуна, была дешевой:

*«...Наутро, покончив в канцелярии, я побежал искать комнату: хотелось устроиться поближе к университету. Снятая мною в домике под названием «Спящая красавица» за тринадцать марок, то есть за шесть рублей пятьдесят копеек комната — эта цена включала утренний кофе, освещение и уборку, была очень мала, но в ней было все необходимое... В девятьсот втором году старый Гейдельберг был сплошным студенческим отелем».*

Для сравнения: в Москве средняя стоимость квартиры колебалась в пределах одиннадцать рублей на одного человека.

### **«Колокол» на немецкой земле**

Незадолго до этого, в российских университетах начались студенческие волнения.

Стремясь их подавить, царское правительство ужесточило режим, урезало свободы, и даже временно закрыло Петербургский и Казанский университеты. Это привело к усиленному оттоку русской передовой молодежи за границу, по большей части, в университеты Германии.

Современники отмечали, что эта русская молодежь успела проникнуться «враждебными для правительства идеями и приезжала на запад с более или менее сложившимся мирозерцанием». Выезд за границу облегчал и тот факт, что после

Крымской войны была снижена баснословно высокая по тем временам плата в пятьсот рублей за заграничный паспорт.

Появление русских студентов в Гейдельберге совпало со временем особой славы герценского «Колокола», а имена А. И. Герцена, Н. П. Огарева, М. А. Бакунина были синонимами высокого подвига во имя России. Не зря Л. Линева, один из организаторов этой читальни, писал, что она была создана с целью «поддерживать, пропагандировать и укреплять направление А. И. Герцена»<sup>1</sup>.

Та же самая мысль выражена в опубликованной в Лейпциге в тысяча восемьсот семьдесят девятом году в статье гейдельбергца Д. И. Войкова: «Гейдельбергская колония пользовалась особым благоволением лондонских вождей, издания их высылались даром в Русскую читальню, которая должна была служить органом обращения новоприезжих»<sup>2</sup>.

Скорее всего, официальному объединению русских студентов в Гейдельберге послужило событие, географически весьма удаленное от России и Германии. Речь идет о войне Италии с Австрией, в которой активное участие принимал знаменитый на ту пору Джузеппе Гарибальди — Giuseppe Garibaldi. Русские студенты воспринимали эту войну как национально-освободительное движение.

И когда пришло известие о ране, полученной Джузеппе Гарибальди в августе шестьдесят второго года, то студенты обратились к Н. И. Пирогову с просьбой поехать в Италию, в Специю для консультации и оказания врачебной помощи раненому герою.

### ***Пироговская читальня***

История появления Пирогова в Гейдельберге хорошо ложится на историю возникновения здесь русской читальни.

Сразу же по окончании Крымской войны, Николай Пирогов на приеме у Александра Второго рассказал Императору о

---

<sup>1</sup> Герцен А. И. Новая победа Путьягина. — Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке. Т. 15. Пг, 1920.

<sup>2</sup> Войков Д. Земство и призыв правительства к борьбе с революционной пропагандой. Лейпциг, 1879.

проблемах в войсках и об общей отсталости русской армии. С этого момента ученый впал в немилость и его направили в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов. Но он и здесь попытался реформировать отсталую систему школьного образования.

И вновь его действия привели к конфликту с властями: его не только не назначили министром народного просвещения, как он надеялся, но и отказались даже сделать товарищем — заместителем министра. В результате выдающегося ученого послали руководить обучающимися за границей русскими кандидатами в профессора. Своей резиденцией Пирогов выбрал Гейдельберг, куда прибыл в мае тысяча восемьсот шестьдесят второго года.

Профессорский кандидат Л. М. Модзалевский в письме М. М. Семеновскому в ноябре этого же года из Гейдельберга в Петербург сообщал о поездке Н. И. Пирогова к Д. Гарибальди: «Газетные известия очень напугали русских, и родилась мысль просить Пирогова съездить и, во-вторых, предложить ему средства для поездки. В здешней Русской читальне собралась «чрезвычайная сходка», человек из шестидесяти. Ответ был очень благоприятный. В один вечер собралось до ста флоринов, но Пирогов отказался от денег».

Эта «чрезвычайная сходка» и положила начало объединению русских студентов, обучающихся в Гейдельбергском университете.

Но и после организации читальни, как сообщают документы, не было единодушного мнения: быть закрытому клубу или быть общественной, доступной для всех, читальне.

Последнее было поддержано большинством членов читальни, о чем сообщалось в справке, составленной агентом III отделения А. Бутковским. Он обращал внимание своих шефов в Петербурге на то, что в читальне «имелись все произведения русской нецензурной литературы...»

Как сообщают архивисты, были здесь и произведения Ленина. «Прошедшей осенью, — доносил агент, — в читальне возникли несогласия по поводу приема в члены Н. Неклюдова, который вместе с Лугутиным и учителем Модзалевским тре-

бовали преобразования закрытого клуба в читальню общественную, открытую всем русским за месячный взнос одного гульдена. Пошли споры, и противники этого преобразования были побеждены<sup>1</sup>».

Спустя почти двадцать лет, в канун пятидесятилетнего юбилея научной, врачебной и общественной деятельности Николая Ивановича Пирогова, русская общественная читальня была названа его именем.

### ***Бог не выдаст — свинья не съест***

Гейдельбергские студенты весьма активно требовали от царя утверждения конституции, составленной Н. П. Огаревым, печатали и рассылали в Россию отрывки из публикаций в «Колоколе».

И все же это были, по большей части, молодые люди, которые жили не только политическими проблемами. Об этом свидетельствует издаваемый ими журнал под двойным французско-русским наименованием «*A tout venant je sache*» — «Бог не выдаст — свинья не съест».

Даже Иван Тургенев в романе «Дым» упомянул о «русском периодическом листке» «Бог не выдаст — свинья не съест», и указал в авторском примечании на историческую достоверность описанного в романе факта, связанного с содержанием журнала.

Содержание статей в журнале занимало и российскую прессу. Так в двух номерах петербургского журнала «Библиотека для чтения» были опубликованы выдержки из журнала русских гейдельбергских студентов. К сожалению, архивисты до сих пор не обнаружили ни одного сохранившегося номера этого уникального издания.

В декабре тысяча восемьсот восемьдесят первого года российская газета «Порядок» писала: «Русская Пироговская общественная читальня в Гейдельберге, как нам сообщают, узнав о невознаградивой утрате, понесенной наукой и рус-

---

<sup>1</sup> Письмо из Гейдельберга.— Колокол, 1863, 15 августа, № 169.

ским обществом в лице скончавшегося Николая Ивановича Пирогова, в общем собрании членов почтила память покойного, выразив то в письме его родственникам. Одновременно с тем был также отправлен венок на могилу...»

### ***Начало XX века***

Если летом тысяча восемьсот девяносто восьмого года студентов, приехавших из России, было пятьдесят, то через пять лет, ко времени появления в Гейдельберге Федора Степуна, их число составляло уже двести человек.

Основная причина такого роста состояла в том, что с начала века абитуриентам в заграничные университеты достаточно было предъявить свидетельство об окончании полного курса гимназии или реального училища, чтобы быть зачисленным в немецкий университет без каких-либо экзаменов. Этим воспользовались многие.

Однако политическая активность членов читальни постепенно сходилась на нет. Прежние активисты окончили университет и вернулись на родину, другая политическая деятельность вообще не интересовала. Агент А. Бутковский умолял III отделение перевести его в другое место, так как он чувствовал себя в Гейдельберге «за отсутствием материалов бессильным выполнять какого-либо рода сведения и брать с Вас даром деньги».

Наслышанный о русской читальне в Гейдельберге, Федор Степун был весьма разочарован:

«Первый же взгляд в читальный зал сразу разрушил мои ожидания. В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и борцов за свободу, сидели, осторожно шурша тонкою бумагой конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди. Никакого привета себе, как русскому, я в быстрых, исподлобья брошенных на себя взорах, не почувствовал.

Прочтя на двери, ведущей в соседнюю комнату, надпись «Правление, часы приема такие-то», я постучался и тут же услышал: «войдите». Там курило несколько по всей своей культурно-бытовой сущности совершенно инородных мне

молодых людей. Я просмотрел каталог, записался в члены и вышел из читальни более одиноким, чем вошел в нее...»

Нисколько не подозревая Федора Степуна в национализме или шовинизме, могу предположить, что ему не понравился национальный состав членов русской читальни. Но он был характерен для всей русскоязычной диаспоры того времени. Например, национальный состав российской части студентов Фрайбургской горной академии выглядел следующим образом: двадцать — двадцать пять поляков, пятнадцать — двадцать остзейских немцев, четырнадцать русских, семь евреев, трое армян и двое латышей<sup>1</sup>.

### *Роль среды в истории*

Конечно, русские студенты приезжали в Германию — и в Гейдельберг, в частности, не для того, чтобы заниматься здесь революционной деятельностью, а чтобы постигать науки, в частности, философию, естественные науки, медицину, юриспруденцию, классическую филологию и историю, романские языки и литературу.

Особенно нелегко приходилось философам. Мятежные русские души наталкивались на «холодный прусский разум»: с помощью прогрессивной немецкой философии они пытались ответить на волновавшие их вечные вопросы жизни.

Немецкие же профессора стояли на том, что философия является строгой наукой, а не исповеданием веры. Разделение нравственного и научного оказалось теми основными направлениями немецкого духа, которые Степуну, как и другим русским студентам, пришлось преодолевать...

По числу студентов из России Гейдельбергский университет занимал третье место после Берлинского и Мюнхенского. Если говорить о местной жизни, то русские студенты в Гейдельберге жили в полном отрыве от нее.

Одной из причин была культивируемая имперской идеологией германского государства враждебность молодых нем-

---

<sup>1</sup> Высшие горные школы за границей. СПб., 1897.

цев к славянским народам. Студентов из славянских стран они именовали «чехами», «славянами», произнося эти слова, словно презрительную кличку.

Поэтому русские студенты замыкались: одни «грызли гранит науки», других увлекали революционные идеи, они активно посещали социал-демократические лекции и митинги, где преимущественно выступали российские ораторы. О том, что происходило за стенами читальни, они почти ничего не знали, да и не старались узнать<sup>1</sup>.

Другой причиной было недостаточное знание немецкого языка, отталкивающее местных немцев от общения с русскими. И это способствовало постепенному угасанию идеи относительно того, что Гейдельбергская читальня станет форпостом передовой русской мысли в Германии.

Есть сведения, что в своем первоизданном виде она просуществовала примерно до двадцатых годов прошлого века. Одно из последних многочисленных собраний состоялось в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда здесь отмечалось пятидесятилетие читальни имени Пирогова.

Надвигавшаяся Первая мировая война привела к решению немецкого правительства о закрытии имперских университетов для «русских». Исключение составляли российские немцы.

Так, ректор Берлинского политехникума (Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg) профессор Ридлер (Alois Riedler) писал: «Многие иностранцы, которым мы даем техническое образование, остаются в Германии — прилив молодежи из северных стран и остзейских провинций России приносит нам много нужных сил. Остальные же, лезущие к нам массами из России, в большинстве своем весьма нежелательны».

---

<sup>1</sup> А.А. Седлер, Социокультурные аспекты повседневной жизни русско-го студента в Германии. Вестник Томского университета, 2011, № 3. — *Ред.*

***К итогам Международной  
научной конференции в Вене:  
современные подходы и интерпретации***

Счастливым событием ознаменован октябрь прошлого года для русскоязычных писателей и литературных критиков, собравшихся в прекрасной австрийской столице Вене, в одном из знаменитых дворцов Австрии Palais Palfy, прославившемся тем, что много лет назад здесь музицировал великий Вольфганг Амадей Моцарт.

Международный Форум «Литературная Вена — 2013» стал символом единения, дружбы, толерантности литераторов со всех уголков земли, показателем большой любви международного сообщества к русской культуре и литературе.

В рамках международного Форума состоялась научная конференция «Русскоязычные писатели в современном мире: литература и культура русского Зарубежья».

Интерес к культуре русского Зарубежья объединил исследователей разных стран и континентов: участниками международного Форума стали делегаты из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Литвы и Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Украины, Франции, Чешской республики.

Доклады, представленные учеными-филологами, продемонстрировали широкий спектр проблем, связанных с культурой русского Зарубежья XX — начала XXI века в контексте



ее лучших традиций, преемственности, историко-культурной динамики и жанрово-стилевых поисков.

Закономерным нам видится обращение исследователей к литературе первой и второй «волн» эмиграции, и прежде всего к тем ее ценностям, которые заложили духовный фундамент современной русской литературы.

Проза Ивана Шмелева и писателей его круга в контексте судеб русской литературы и национально-культурной идентичности стала предметом научных изысканий А. Газизовой, Л. Спиридоновой, Ф. Капицы, Т. Александровой, А. Смирновой — все исследователи из России; А. Степановой, Л. Ромащенко — Украина. Авторы говорили о специфике жанра, о поэтике повествовательных форм, о проблемах языка.

На уровне семантической поэтики осмыслены религиозно-нравственные искания В. Сумбатова в исследовании Н. Титовой (Россия), ее работа посвящена аксиологическим доминантам образа Креста Господня в творчестве поэта.

В качестве уникального художественного опыта представлена в докладе Т. Давлетбаевой (Россия) «мистическая теургия» Константина Бальмонта, в основе которой «мучительный духовный путь» и «обретение нового сознания» в условиях формирования онтологической концепции личности художника-эмигранта.

На материале произведений украинских писателей XX века исследователем Л. Ромащенко (Украина) прослеживается генезис фольклорно-религиозной символики в контексте традиции Ивана Шмелева, трансформированной в национальной парадигме украинской культуры.

Особый тип художественно-философского осмысления темы «русскости» в эмигрантской прозе Газданова представлен в исследовании А. Смирновой. (Россия). Психологические функции повторов и гипер-реконструкции как особенности художественного стиля писателя, стали предметом анализа молодого ученого из Австрии И. Яндль.

Словотворчество Игоря Северянина как эстетический код поэтического миромоделирования рассматривается в научном исследовании Т. Гридиной. Ученым из Екатеринбурга просле-

живается использование поэтом системного потенциала языка, анализируются «игровые механизмы» переключения ассоциативных стереотипов в поэтических экспериментах Северянина.

Особенности индивидуального стиля философской лирики Ивана Бунина, космогонические мотивы в произведениях поэта эмигрантского периода стали предметом анализа О. Колобовой (Россия).

Примечательно, что категории «традиция», «преемственность», «художественное влияние», которые в разных контекстах преломлялись в большинстве докладов участников научного симпозиума, отвечали самому «духу» конференции, актуализируясь в пространстве художественных исканий современной русскоязычной литературы Зарубежья.

Так, обозначенная в докладе М. Полехиной система художественных доминант концепта «судьба поэта» — «судьба творчества» — в литературной традиции русского Зарубежья первой трети XX века, перекликается в своем сущностном значении с исследованиями художественной концептосферы в целом ряде докладов: на уровне концепта творчества в исследовании Н. Щедриной об экзистенциальном «тексте» философской повести Марка Алданова «Бельведерский торс»; в связи с выявлением культурно-исторических смыслов в историческом пространстве романистики Всеволода Иванова — исследователь Е. Трубилова (Россия); с анализом концептуальных оппозиций свое-чужое в автобиографическом романе Нины Берберовой «Курсив мой» (работа М. Лаппо, Россия).

Синтезом архетипических и литературных структур утопического сознания рассматривается в исследовании С. Андреевой концепт «хрустальный дворец».

Доклад Ю. Головневой (Россия) посвящен художественно-психологической рефлексии концепта «сладостное растворение» в романе Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал».

Несомненный интерес в русле заявленной проблематики представляют материалы, посвященные малоизученным проблемам русской эмигрантской литературы или артефактам, впервые введенным в современный контекст. Так, в докладе В. Агеносова рассматривается наименее исследованный раз-

дел русской литературы послевоенной эмиграции, связанный с именами и творчеством Николая Нарокова, Леонида Ржевского, Сергея Максимова и другими.

Типологически общим для лучших прозаиков второй волны является, по мнению автора, «сюжет преодоления идеологической зашоренности и страха».

В ряду таких же исследований отметим научный доклад Т. Автухович (Беларусь), предметом которого стал автобиографический роман «Канун восьмого дня» О. А. Ильиной-Боратынской, в частности, особенности его повествовательной структуры, основанной на полидискурсивности.

О русском художнике и поэте Борисе Анрепе, вдохновителе творчества Анны Ахматовой и Олдоса Хаксли, о его влиянии на английскую культурную среду — исследование О. Казниной (Россия).

Обзор периодической печати русской эмиграции эпохи Второй мировой войны представлен в докладе Л. Щелоковой; ученым проанализированы статьи наиболее известных изданий, выходящих в Европе и в США с 1939 по 1943 годы.

С репрезентативным аналитическим обзором периодики русского Зарубежья двадцатых годов о творчестве К. Федина и эпистолярных отзывах о нем писателей диаспоры: Д. Святополка-Мирского, К. Мочульского, Г. Адамовича, М. Слонима, В. Познера, И. Эренбурга, Р. Гуля и других выступила на международном Форуме И. Кабанова (Россия).

Эпистолярное наследие как текст жизни русской эмиграции стало предметом анализа и комментариев К. Финкельштейна (США) к письмам Д. Кленовского к А. Оцуп; Л. Мнухина (Россия) к неизвестной переписке М. Цветаевой и В. Ходасевича.

О последнем литературном секретаре Льва Николаевича Толстого В. Ф. Булгакове и пражском периоде его литературной и общественной деятельности — научный доклад Ю. Азарова (Россия). В поле зрения исследователя — создание В. Булгаковым русского культурно-исторического музея в Чешской республике, который стал художественным, литературным и политехническим музеем одновременно, хра-

нилищем уникальных фондов, связанных с русской литературой, именами русских писателей Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Бориса Зайцева, Алексея Ремизова, Ивана Шмелева, Марины Цветаевой.

С концептуальным докладом о межконтинентальном русском литературном журнале «Грани», о его непростой, «прекрасной и трагической судьбе», о проблемах и перспективах издания рассказала издатель и главный редактор журнала Татьяна Жилкина.

В контексте преемственности было представлено творчество поэта-эмигранта «третьей волны» В. Петроченкова, итоговая книга которого «Экслибрис» стала предметом анализа Л. Звонаревой и Г. Певцова (Россия). В. Петроченков является своей жизнью и творчеством тип «русского европейца тургеневского типа с подлинно христианским мироощущением» (Л. Звонарева), поэтом, «продолжающим художественные традиции Серебряного века» (Г. Певцов).

В русле названных научных интенций — доклады Э. Шафранской (Россия), посвятившей свою работу проблематике и поэтике романа Ф. Горенштейна «Псалом»; А. Подгорской (Россия), которая прослеживает эволюцию семантики и художественного воплощения рождественской образности в поэзии Иосифа Бродского; В. Серафимовой (Россия), размышляющей о роли культурно-исторических реалий в философско-этических взглядах поэта.

В контексте тематики Форума значительное место было отведено проблемам современной русской литературы, которая стала предметом особого внимания, потому что литературный процесс за рубежом и участие в нем русских писателей определяет сегодня, с одной стороны, вектор дальнейшего развития сложившихся тенденций, а с другой — позволяет переосмыслить и скорректировать понятийный статус эмиграции, который становится достаточно условным в рамках современной «открытости» и диалога культур.

Среди авторов, размышляющих на эту тему Н. Осипова (Россия), обратившая внимание на особую роль современных литературно-художественных альманахов как формы объединения русскоязычных писателей Зарубежья; В. Цуркан, кото-

рая избрала предметом своего анализа роман Саши Соколова «Школа для дураков», подчеркнув в нем характер развития семантической модели «дача» в системе историософского видения автора. Н. Барковская и А. Цепенникова представили художественные модели и концептуальные характеристики образной системы современной женской прозы за рубежом (Л. Горалик и А. Сохриной) в ее отношении к понятию «эмиграция».

Последний роман Е. Ключева, эмигрировавшего в конце девяностых годов интерпретирован О. Ладохиной (Россия) в системе жанрово-стилевых характеристик, обусловивших авторское определение произведения как «социофренический роман».

Особенности художественного осмысления советской эпохи в произведениях писателей русского Зарубежья конца XX-начала XXI веков — повести Бориса Хазанова и «Связь времен. Записки благодарного. В Старом Свете» И. Ефимова» стали предметом анализа в работе М. Бедриковой.

Новый исследовательский подход к рассмотрению ключевых повествовательных структур в жанрово-стилевом пространстве романистики Дины Рубиной («На солнечной стороне улицы») актуализирован в докладе Т. Колядич (Россия).

О культурно-языковых стратегиях российских писателей-эмигрантов, наиболее успешных сегодня, рассказал участникам международного Форума Х. Пфандль, профессор из Австрии.

Опыт интерпретации повести Сергея Довлатова «Иностранка» американскими студентами-стажерами, их восприятие идейно-эмоционального смысла произведения представлен в исследовании В. Артамоновой (Россия).

Знаковым явлением состоявшейся научной конференции стало включение в художественное пространство Зарубежья русскоязычной литературы бывших союзных республик: Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана. Это совершенно особый статус писателя-эмигранта в стране, в которой русский язык был государственным и в которой русскоязычное население и сегодня составляет довольно значительную часть граждан.

В этой связи в качестве проблемных и располагающих к интересной дискуссии можно рассматривать научное исследова-

ние Т. Мегрелишвили и И. Модебадзе (Грузия) о доминирующих концептах «Грузия» и «Россия» как моделей самоидентификации и саморефлексии в современной русскоязычной грузинской прозе на фоне проблем читателя, издателя, творческих объединений и так далее. В докладе С. Гончаровой-Грабовской (Белорусь) прослеживаются тенденции развития русскоязычной драматургии Беларуси, особенности ее театральной интерпретации и сценической судьбы.

Исследование Л. Шевченко (Польша) обращено к процессам жанровой интерференции в прозе белорусской русскоязычной писательницы Н. Батраковой, работающей в жанре «производственного» романа современного типа.

Ученые, представляющие страну «ближнего» Зарубежья сосредоточили свое внимание на философско-эстетических доминантах и онтологической поэтике творчества Б. Кенжеева (К. Уразаева, Казахстан) и русского поэта из Кыргызстана В. Шаповалова (О. Прокофьева, Россия).

Прогностические тенденции Чингиза Айтматова относительно будущего языковой личности увидела в романе писателя «Тавро Кассандры» ученый из Казани И. Карабулатова.

Обращение к острым проблемам современного функционирования мировой русской литературы свидетельствуют не только о формировании новой перспективной научной стратегии в ее изучении, но и о поисках новых возможностей и путей консолидации литераторов и ученых всего мира в их стремлении к плодотворному творческому диалогу.

По материалам конференции будет издан сборник «Русскоязычные писатели в современном мире: литература и культура русского Зарубежья».

Выражаем надежду, что выход сборника не пройдет незамеченным научным сообществом как в России, так и за ее пределами. Книга будет полезна всем, кто интересуется вопросами литературы и культуры русского Зарубежья.

*Майя Полехина.  
Нина Осипова*

## Коротко об авторах

В а с и л ь е в Глеб Казимирович (1923–2009) родился в Коломне. Мать — Наталья Аркадьевна — урожденная Вяземская. Отец — поляк из древнего рода Арцышевских. Получил домашнее воспитание в семье матери — педагога и тети — врача.

В 1932 году поступил в четвертый класс средней московской школы, где учился до восьмого.

Сдав экстерном выпускные экзамены, поступил в 1939 году на физический факультет Московского государственного университета, откуда, в связи с эвакуацией, перешел в 1942 году в Московский станкоинструментальный институт.

Осенью 1945 года на пятом курсе был осужден по статье 58-й пункт «за антисоветскую пропаганду» и отправлен по этапу в Северо-Печорский лагерь, на так называемую «стройку 503-ю». После пятилетнего отбытия срока, имел «поражение в правах» и в течение трех лет работал слесарем в Южном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву.

В 1973 году, не имея законченного высшего образования, защитил диссертацию по специальному разрешению ВАКа.

Занимался вопросами теоретической лингвистики. Владел французским, английским, польским, чешским и сербско-хорватским языками.

Автор публикаций в ГРАНЯХ: «Неужели все это было правдой?», «Встречи с Ю. А. Казарновским», «История Тифлисского альбома Николая Гумилева», «Проза, насыщенная электричеством памяти», «Земля Обетованная», «Их дух, их мысль...», «О Тихоне ЧуриLINE, Ходасевиче и других (часть из материалов совместно с Г. Никитиной).

Гонозов Олег Сергеевич родился в августе 1956 года в Ярославле.

Окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер клубных массовых представлений.

Работал столяром, проводником поездов дальнего следования, электриком, художественным руководителем, корреспондентом. Двадцать два года отдал ярославской областной газете «Золотое кольцо», где прошел путь от собкора до редактора отдела новостей.

Первая публикация стихов в 1974 году в районной газете «Путь к коммунизму».

Рассказы публиковались в журналах «Юность», «Русский путь», «Мера», в «Литературной газете», «Литературной России», альманахах «Воскресенье» (Екатеринбург, 2007), «Губернаторский сад» (Ярославль, 2010), «Лед и пламень» (Москва, 2013), русскоязычных периодических изданиях Израиля, США, Канады.

Автор книг «Судьбы на ветру», «Татьянин день», «Эффект присутствия», «Смерть в Хургаде», «Из Кошанска в Москву» и других.

Член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Живет в Ярославле.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Дорошенко Александр Викторович. Родился в апреле 1943 года.

Закончил Одесский холодильный институт. Защитил докторскую диссертацию. Выпустил пять профессиональных монографий по теплофизике, холодильной технике и солнечной энергетике. Две монографии вышли в США.

Написал талантливые книги (или талантливо написал) и издал: «Поэма о Городе», «Переправа через Стикс», «Сентиментальное Путешествие», «Атлантида Евреев».

В ГРАНЯХ в №251 — начало материала «Книга Чисел и Книга Бытия».

Ларцева Наталья Васильевна окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета (1953).

Работала на Карельском радио редактором литературных передач. В шестидесятые годы Н.Л. открыла для себя мир цветаевской поэзии и в это же время познакомилась с А.И. Цветаевой, дружба с которой сохранилась до последних дней жизни Анастасии Ивановны.

Опубликовала неизданный в 1940 году сборник стихов Марины Цветаевой и рассказала историю его неиздания. Книга вышла под названием «Где отступается Любовь...» (1991). Затем издает книжечку афоризмов поэта «Песня и формула» (1992).



В 2004 году Дом Цветаевой переиздает ее.  
В ГРАНЯХ печатается впервые.

**Менчинская** Наталья Юльевна родилась в Москве в 1946 году в семье ученых. Мать, Менчинская Наталья Александровна, — видный психолог, отец, Бер Юлий Адольфович, — историк-исследователь.

После окончания Московского архитектурного института работала архитектором в Институте по проектированию высших учебных заведений «Гипровуз».

Н. М. с детства бывала в Коктебеле в доме М. Н. Изергиной, близкой подруги своей матери. Кончина Изергиной и последующая за этим ликвидация ее дома в 1998 году побудили заняться литературной деятельностью. Ей удалось сохранить память о замечательных людях ушедшего поколения, написав и опубликовав основанные на документальном материале книги: «Крымские „аргонавты“ XX века» (2003) и «Человек с солнечной стороны» (2005).

В декабре 2006 года опубликовала сборник рассказов «Крылья в кармане» Дмитрия Урина — забытого, но талантливого писателя, рано ушедшего из жизни, сопроводив его развернутым биографическим очерком, написанным ею по материалам семейного архива и РГАЛИ.

Работает в «Институте общественных зданий» руководителем проектной мастерской и главным архитектором проектов.

Имеет публикации в ряде журналов: «Наше наследие», «Лехим», «Критическая масса», альманахе «Параллели».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ в № 234 опубликован ее материал «Сестры Изергины».

**о. Владимир Зелинский**. Православный священник, философ, богослов.

Родился в Ташкенте, в эвакуации, в 1942 году.

С 1943 жил в Москве. Окончил филфак МГУ.

Автор книг «Взыскаю лица Твоего», «Наречение имени», «Открытие Слова», «Приходящие в церковь» и других.

Активный участник множества международных религиозных форумов, конгрессов, конференций. Его перу принадлежат сотни статей по самым смелым богословским и одновременно остро современным вопросам.

Пишет по-русски, по-французски, по-итальянски и по-английски. С 1991 года живет в Италии. Служит в г. Брешия (Северная Италия). Преподает в местном университете.

В ГРАНЯХ опубликован богословский материал «Детство и царство» в №243–244 («Тарусские страницы»).

Переверзин Иван Иванович родился в марте 1953 года в поселке Жатай республики Саха (Якутия).

Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького.

Автор десяти поэтических книг, в том числе трех «Избранных»: «Стихотворения», «Грозовые крылья», «Северный гром».

В странах дальнего и ближнего Зарубежья в переводе вышло десять поэтических книг.

И. П. — заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Большой премии России.

Последние четырнадцать лет живет и работает в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Ульба Дарья Андреевна родилась в октябре 1990 года.

Школу закончила экстерном. Училась в разных местах, в том числе и в Литературном институте.

Изучает восточные религиозно-философские системы и учится в Институте журналистики и литературного творчества.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Фишман Виктор Петрович родился в Днепропетровске в 1934 году.

В 1957 закончил Днепропетровский горный институт, инженер-геофизик. Работал в Донбассе на шахтах, опасных по взрыву газа и пыли.

С 1960 по 1990 занимался изучением блуждающих токов и защитой подземных сооружений от коррозии. Автор около тридцати патентов и авторских свидетельств, кандидат технических наук.

Первые публикации появились в научно-популярных журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» в 1978 году.

С 1996 года постоянно живет в Германии, в Мюнхене. С этого времени печатается в русскоязычной прессе Америки, Израиля, Германии.

В 2001 году в Днепропетровске в издательстве «Интеграл» вышел роман «Формула жизни», первое художественное произведение автора.

В ГРАНЯХ в № 236 опубликован его материал «Узник в спасительной гавани», в № 246 «Рисунки Дюрера для Фюрера».

## Содержание томов №№ 249–252, 2014

«Печально, как день из-под век облаков...»	249
«Пространство ширится и множится...»	250
«В прекрасном году тринадцатом...»	251
«Два Ангела летели над миром...»	252

### XX ВЕК

ДОРОШЕНКО Александр. Книга Чисел и Книга Бытия	251, 252
---	----------

### ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид. «Если Богом мне данное имя...»	249
ИВАНЧЕНКО Александр. Освобождение Толстого	250
НИКОЛАЕВ Геннадий. Федор Абрамов и другие	249

### К 120-ЛЕТИЮ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ

«Зовут её Ася. Но лучшее имя ей – Пламя...»	252
ЦВЕТАЕВА Марина. Сказка матери	252
ЛАРЦЕВА Наталья. «...Звезды предутренней мерцающий алмаз»	252

*ПУБЛИЦИСТИКА*

- КОРНИЛОВА-БАСОВА Ирина.**  
Крым – клубок проблем 251
- ВОРОБЬЕВ Олег.**  
Геофизическая версия гибели подводной лодки «Курск» 251

*ПОЭЗИЯ*

- БОТЕВА Валентина.**  
«...Гудок. Голубые огни» 251
- ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид.**  
«В гармонии небес, воды и суши...»  
*Карадагские монологи* 249
- НЕМИРОВСКИЙ Александр.**  
«...Закат, отражённый от белого камня» 251
- ПАНЧЕНКО Николай.**  
«Как первый снег, как первоцветы...» 252
- ПЕРЕВЕРЗИН Иван.**  
«...Бушующих над тундрой гроз» 252

*ПОЭЗИЯ УЧАСТНИКОВ ПРАЖСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ*

- ГЕЙЛОВА Надежда.**  
«В таинственном лесу своих желаний...» 250
- ПОТОРАК Леонид.**  
«Поздний плач по облетевшим листьям...» 250
- ХМЕЛЕВА Наталия.**  
«Гранью древнего кристалла...» 250

*ПРОЗА*

- ГОНОЗОВ Олег.**  
За ликом набожным и странным 252
- ГОРЮШКИН Анатолий.**  
Колесо обозрения. *Литературное эссе* 249
- ЕВСЕЕВ Борис.**  
Пламенеющий воздух. *Главы из романа* 249

<b>ЗАБОРОВ Борис.</b>	
«Земную жизнь пройдя до половины». <i>Рассказы.</i>	
Птица. Случай или рок.	
Однажды в Венеции. Русскоговорящая Дарья.	249
Ава	252
<b>МОКЕЕВА Мария.</b>	
Пензанс	249
<b>НИКОЛАЕВ Геннадий.</b>	
Тендряков на Байкале	251
<b>СУНДЕЕВ Николай.</b>	
Город для сказочника. <i>Лирические этюды</i>	251
<b>ТИХОВСКАЯ Ольга.</b>	
Берегиня с улицы Киевской	251

*АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА*

<b>ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ Валерий.</b>	
Босоногий	250
<b>ПЕРОВА Евгения.</b>	
Франкфурт. Спасти Книгу!	250
<b>УЛЬБА Дарья.</b>	
Парящая. В центре комнаты на ковре	252
<b>ХЕТАГУРОВ Алексей.</b>	
Один поляк	250
<b>ШУСТОВ Антон.</b>	
Танго начинается с объятия	250

*ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ*

<b>ВАНЕЧКОВА Галина.</b>	
«Ты – как круг, полный и цельный...»	
<i>Мои встречи с Константином Родзевичем</i>	249
<b>МЕНЧИНСКАЯ Наталья.</b>	
«Похоже на то, что надо запомнить эту фамилию...»	252
<b>ПАРШИНА Елизавета.</b>	
Разведка без мифов.	250
Военная контрразведка	251

- ХЕТАГУРОВ Алексей.**  
Записки москвича 249

*ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА*

- о. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ.**  
О музыке и смерти. *Александр Блок* 251, 252
- КАЛАШНИКОВ Владимир.**  
Всекий и Никто. *«Улисс» Джеймса Джойса* 252

*НАСЛЕДИЕ*

- ВАСИЛЬЕВ Глеб.**  
*«...Я – ваш, больше, чем с небо!» Из лагерных писем* 252
- ВЕРТ Николая.**  
Великий голод 1932–1933 годов на Украине 251
- ГОЛОВКОВА Лидия.**  
Храм для безбожника.  
*Поэты и чекисты. Покровитель талантов.*  
*Глеб Божий и страна богов Шамбала.*  
*Кремлевское «Дело»* 250
- МАНСУРОВ Борис.**  
Неугасимый «тайный жар» Марины Цветаевой 249
- ФИШМАН Виктор.**  
Бывшее и несбывшееся  
русской читальни Гейдельберга 252

*ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ*

- ПОЛЕХИНА Майя.**  
*«Путь комет – поэтов путь»: о судьбе художника*  
*в поэзии русского Зарубежья первой трети XX века* 252

*КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ*

- КУЛАКОВСКАЯ Евгения.**  
Мировая душа эфира. *О новом романе*  
*Бориса Евсеева «Пламенеющий воздух»* 249

*НАШИ ИНТЕРВЬЮ*

**ВАСИЛЬЕВ Глеб.**

«...Я – ваш, больше, чем с небо!» 250

**КАРОЛИНСКИЙ Гарри:**

«Я – как археолог, моя задача – восстановить эпоху...» 249

*ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ*

Заманчивое предложение Йозефа Швейка 250

К итогам Международной научной конференции в Вене:  
современные подходы и интерпретации 252

## ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,  
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,  
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому.. и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т.д.



Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этим людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2014 году от Р.Х.

За 2013 год вышли №№ 245, 246, 247 и 248, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ  
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI  
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru**

**Принимаем заявки на подписку 2014 и 2015 годов от Р.Х.**

Учредитель:  
**Journal «Grani»**

**Ассоциация «ГРАНИ»**  
**L'association «GRANI»**  
**De l'association n°751170197**  
**Paris**

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,  
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.*

*Перепечатка без разрешения воспрещается.*

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 16.05.2014. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 150. Заказ №

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28.

# Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ – 2014  
№ 249, № 250, № 251, № 252

Для оформления подписки,  
писем и сообщений:

**GRANI**  
**BP 24 CHENNEVIER SUR MARNE**  
**CEDEX 94431**  
**FRANCE**

## Представители:

- |         |   |
|---------|---|
| РОССИЯ  | T. Zhilkina<br>17, Milashenkova str., app. 61<br>127322, Moscow<br>E mail: grani.08@mail.ru |
| АМЕРИКА | K. Troosh<br>600 Fifth Ave<br>San Francisco CA 94118<br>E mail: katia@katias.com            |
| ФРАНЦИЯ | N. Fedorovsky<br>16 square J. B. Pigalle<br>77680 Roissy en Brie<br>Tel.: 01.60.28.36.57    |

**Спрашивайте журнал ГРАНИ  
в библиотеках Москвы и Санкт Петербурга**

**Легко и радостно жить тому,  
кто ищет в других хорошее,  
ищет и находит.**

**Исканием своим помогает он тем,  
в ком ищет, раскрыть и проявить  
светлые г р а н и души. Но для этого  
он прежде всего в самом себе  
должен раскрыть их, должен стремиться  
к совершенствованию.**

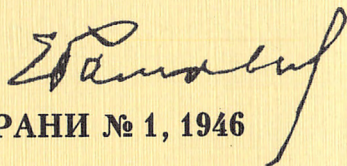
**Каждый человек —  
часть органического целого, человечества.  
Совершенствуется часть —  
совершенствуется целое.**

**Тот, кто становится на путь Правды,  
помогает всему человечеству  
стать на тот же путь.**

**А необходимость этого, может быть,  
никогда так не была велика, никогда так  
не ощущалась всеми, как в наши дни.**

**В свете этого большая  
и ответственная задача  
стоит перед теми, кто служит Слову, —  
Слову Правды.**

**Тогда подлинным гуманизмом будет  
проникнуто творчество художника  
и оправдано в служении Человеку,  
Правде человеческой, Правде Божьей.**



**ГРАНИ № 1, 1946**